

Леонид Карпов



**Циничная
училка. Том 3**

Леонид Карпов

Циничная училка. Том 3

<https://litres.ru/74239432>

SelfPub; 2026

Аннотация

Рост Александры Сергеевны Пушкиной – всего 90 сантиметров, но ее ментальный масштаб подавляет любого. Народная учительница РФ и абсолютный циник, она ломает стереотипы о школьных уроках. Пушкина видит изнанку великих книг и безжалостно препарирует мотивы героев. А ради финального аккорда она прыгает сквозь эпохи, чтобы лично устроить допрос Омару Хайяму, Лермонтову, Линдгрэн, Джеку Лондону, Оруэллу, Мандельштаму, Островскому, Маршаку, Маяковскому, Мольеру, Некрасову, Набокову и другим гениям.

Содержание

«Куручка Ряба», русская народная сказка	4
«Куруьер», К. Шахназаров	9
«Лебедь, Щука и Рак», Крылов И. А.	16
«Лев и собачка», Л. Толстой	22
«Левша», Николай Лесков	27
Леннрот, Элиас	33
Лермонтов Михаил Юрьевич	39
Леся Украинка	45
«Летний вечер», Блок А. А.	52
Линдгрен, Астрид	58
«Лисица и Виноград», Крылов И. А.	65
«Лолита», В. Набоков	70
Лондон, Джек	76
«Лошадиная фамилия», А. Чехов	82
«Любовь к жизни», Дж. Лондон	88
«Любочка», А. Барто	94
«Лягушка-путешественница», В. Гаршин	100
«Маленький Мук», В. Гауф	105
«Маленький принц», А. де Сент-Экзюпери	110
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше», А. Линдгрен	116
«Мальчик с пальчик», Жуковский В. А.	122
Конец ознакомительного фрагмента.	125

Леонид Карпов

Циничная училка. Том 3

«Куручка Ряба», русская народная сказка

Поезд со скрежетом остановился на глухом полустанке, где пахло мазутом, цветущей липой и близким болотом. Пассажиры потянулись к выходу, но в купе Александры Сергеевны Пушкиной, Народного учителя Российской Федерации, кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, время словно замедлило свой ход, подчиняясь законам классической русской драматургии.

Великий филолог предпенсионного возраста сидела неподвижно, ее крошечный силуэт – девяносто сантиметров абсолютного академического превосходства – четко выделялся на фоне блеклого вагонного пластика.

Лилипутка бережно расправила кружевной платочек на коленях и посмотрела на учителя ИЗО Эдуарда Ипанько. В ее огромных, лучистых глазах заплескалась глубокая, почти тургеневская элегическая грусть.

– Вы задумывались когда-нибудь, Эдуард, над сокровенной тайной «Куручки Рябы»? – тихо, с придыханием спро-

сила Пушкина, и ее бархатный альт зазвучал как виолончель в пустом зале. – Ведь это не просто сказка, это величайшая космогоническая притча нашей цивилизации. Золотое яйцо – это первородный хаос, философский камень, сакральный дар небес, ниспосланный угасающему патриархальному миру в лице Деда и Бабы. Это символ абсолютного, трансцендентного счастья, чистого бытия, к которому человечество тянет свои натруженные, грешные руки. А мышка? Мышка – это же божественный инструмент, юнгианский архетип тени, неуловимый дух случая. Ее легкий всплеск хвоста – это секундное касание вечности, разрушающее материальную оболочку ради освобождения духа. Какая трагедия недостижимости идеала! Какое смирение сквозит в финальном обещании снести яйцо простое – как возвращение к истокам, к теплой, земной, благословенной простоте...

В этот момент за тонкой стеной купе проводница с грохотом уронила тяжелое оцинкованное ведро с грязной водой и раскатисто, матерно выругалась на весь вагон.

Александра Сергеевна замолчала. Благостная лазурь в ее глазах мгновенно выгорела, обнажив леденящий, бритвенно-острый цинизм бывалого патологоанатома человеческих душ. Она брезгливо дернула крошечным плечом и издала сухой, каркающий смешок.

– Господи, какую же ахинею несут критики, Эдуард, – ледяным тоном произнесла Пушкина, и Ипанько поспешно отодвинул свой стакан. – Какая, к черту, космогония? «Ку-

рочка Ряба» – это же чистая, клиническая картина тяжело-го обсессивно-компульсивного расстройства, отягощенного старческим маразмом и полным отсутствием логического мышления. Вы вообще текст анализировать пробовали?

Она легко взгромоздилась на столик купе, и ее крошечные лакированные туфельки оказались на уровне лица замершего учителя ИЗО. Ментальный масштаб этой женщины сейчас легко подавил бы средних размеров актовый зал.

– Давайте по пунктам, – Пушкина загнула маленький, похожий на птичий, палец. – Дед и Баба получают уникальный артефакт – золотое яйцо. Что делает эта пара геронтологических уникамов? Вместо того чтобы сообразить, что золото – это мягкий металл, и отнести его в ломбард или ювелиру, они начинают его колотить. Дед бил-бил – не разбил. Баба била-била – не разбила. Зачем вы его бьете, идиоты?! Вы хотите яичницу с сусальным золотом? Или вы надеетесь обнаружить там эмбрион птеродактиля? Это же чистый, бесцельный акт аутоагрессии и компульсивного повторения бессмысленных действий.

Она сделала эффектную паузу, хищно прищулив левый глаз.

– Но дальше наступает апофеоз клинического бреда. Прибегают мышка. Мелкий грызун, переносчик туляремии. Задевает яйцо хвостом, оно падает и разбивается. Физика процесса непонятна: почему скорлупа стала хрупкой только сейчас? И какова реакция наших главных героев? «Дед плачет,

баба плачет». Эдуард, у меня взрывается мозг! Вы пять минут назад пытались уничтожить этот предмет тяжелыми тупыми орудиями. Вы страстно желали его расколоть. Ваша цель достигнута – яйцо разбито. Почему вы рыдаете?! Это же терминальная стадия когнитивного диссонанса и экзистенциального тупика. Они плачут не потому, что золото пропало, а потому, что ничтожное серое ничто сделало то, на что у них, двух деструктивных пенсионеров, не хватило силенок. Это зависть к мышинному хвосту!

Пушкина прошлась по столику, зловеще шурша подолом юбки. Ее карликовый рост в этот момент казался концентрированной яростью чистого разума.

– И финальный аккорд – утешение от птицы. Курица, чья черепная коробка вмещает три грамма серого вещества, выступает в роли кризисного психотерапевта для этих двух амбулаторных пациентов. Она говорит: «Снесу вам яйцо другое, не золотое, а простое». И они мгновенно утирают сопли и успокаиваются! Месседж сказки чудовищен: откажись от уникального, забудь про богатство и высшие смыслы, вернись в свое привычное, серое корыто и жри простой холестерин. Курица волевым решением загнала их обратно в стойло нищеты и предсказуемости, а они и рады.

Александра Сергеевна изящно спрыгнула со стола прямо на сиденье, расправила складки своего детского твидового костюма и вновь обернулась к Ипанько с благостной, ангельской улыбкой Народного учителя страны.

– Вот вам и лубок, дорогой Эдуард. Глубочайшая трагедия рабского менталитета, запертого в четырех стенах с одной несущкой.

Поезд плавно тронулся, унося их дальше в провинциальную ночь. Пушкина слегка наклонила голову набок, уставившись на учителя ИЗО немигающим взглядом.

«Курьер», К. Шахназаров

Апрельский полдень в провинциальном городе N разливался сонной удушливой хмарью. В кабинете русского языка и литературы тридцать шестой школы стояла та особенная, гнетущая тишина, какая бывает лишь в местах принудительного содержания духа. За окном на тополях набухали грязные почки, а в классе, среди исчерканных парт, замерли десятиклассники – сословие юных обломовых и разбитнейших сонь, коим суждено было унаследовать эту серую землю.

На учительском столе, поверх засаленного журнала, висилась стопка потрепанных томиков. За ними, едва заметная для непосвященного глаза, на специальном стуле восседала Александра Сергеевна Пушкина. Ровно девяносто сантиметров чистейшего, концентрированного филологического титанизма.

Ее крошечные ступни в ортопедических туфельках двадцать четвертого размера не доставали до пола, а детские ручки весом с лапку синицы покоились на коленях. Однако в ее огромных навывкате совиных глазах светилась такая бездонная, леденящая бездна интеллекта, что долговязые оболтусы с задних парт невольно втягивали шеи в плечи, чуя присутствие высшего хищника.

Она заговорила. Голос ее, на удивление густой и бархатистый, как старинное виолончельное соло, поплыл над при-

тихшими рядами дегенератов и хулиганок.

— Господа, сегодня мы открываем врата в святилище позднего советского ренессанса. Повесть Карена Шахназарова «Курьер». О, это тончайшее, меланхолическое полотно об утраченном поколении! Какая пронзительная элегия юности, зажатой в тиски предчувствия тектонических сдвигов эпохи. Всмотритесь в этот хрупкий силуэт Ивана Мирошникова. Это же чистый, незамутненный Печорин 1980-х годов, трагический романтик, мятущийся дух, который восстает против мещанского конформизма, против сытой, обывательской пошлости советской профессуры! Его ирония — это щит, его чудачества — это крик раненой птицы в пустыне всеобщего непонимания. Вспомните, как трепетно, как целомудренно зарождается его чувство к Кате... Это хрустальный замок искренности, воздвигнутый посреди фарисейского болота...

В этот момент на третьем ряду девица Манька Развратовская, чье лицо выражало глухое недоверие к любым формам углеродной жизни, громко, с сочным свистом втянула через трубочку остатки энергетика из жестяной банки.

Звук был мерзкий, похожий на предсмертный хрип забиваемой свиньи.

Александра Сергеевна осеклась. Пауза длилась секунд десять. Крошечная женщина медленно поднялась на стуле, встав во весь свой птичий рост. Девятьсот граммов ее головного мозга сейчас, казалось, физически давили на перекры-

тия здания. Глаза ее сузились.

– Развратовская, – негромко, но отчетливо произнесла Пушкина. – Твой сосательный рефлекс – единственное, что связывает тебя с высшими млекопитающими. Выплюнь этот сироп для нищих и слушай сюда, пока я жива. Потому что Шахназаров написал великую вещь, но не про «крик птицы», а про то, какие вы все, в сущности, ленивые, самовлюбленные и бесполезные твари.

Класс замер. Машка Развратовская поперхнулась химической жидкостью.

– Все эти ваши методички, – Александра Сергеевна брезгливо толкнула пальчиком брошюру издательства «Просвещение», – называют Ивана Мирошникова «бунтарем». Какое бунтарство, ради всего святого? Этот ваш Ваня – классический, эталонный инфантильный паразит, трутень и бытовуха садист с уязвленным эго. Давайте препарируем этот образ. Мальчик завалил экзамены в вуз. Почему? Потому что он тупой? Нет, он не тупой, у него в башке мешанина из полупереваренных цитат. Он просто ленивая скотина, которой впредь было открыть учебник. И маменька, эта святая советская женщина, исходящая на говно от страха, что ее будущего кормильца забреют в Афганистан, пристраивает это сокровище курьером.

Пушкина вновь села и оперлась кулачками о стол. Из-за стопки книг были видны только ее голова и плечи, отчего казалось, будто с амвона вещает грозный дух литературного

трибунала.

– И что делает наш «герой», получив первую в жизни ответственность? Он кладет на нее огромный, пухлый болт. Он опаздывает, врет, путает адреса. Но подается это с претензией на экзистенциальный протест! Обратите внимание, как он общается с профессором Кузнецовым. Кузнецов – нормальный, состоявшийся мужик, представитель академической элиты, вкалывавший всю жизнь. Ваня приходит к нему в дом, жрет его обед и начинает хамить. Зачем? Чтобы показать превосходство? Нет. Обычная нищевродская злость мелкого люмпена, помноженная на юношеский нарциссизм. Да он просто завидует чужой квартире и чужому статусу, потому что сам способен только плевать в потолок и крутить сальто на асфальте с такими же бездельниками.

Александра Сергеевна взошла на стол и стала прохаживаться по нему – три шага туда, три обратно, словно подиумный критик.

– А теперь о «великой любви» к профессорской дочке Кате. Катя – это же вылитая ты, Развратовская, только из номенклатурной кормушки. Пустая, сытая кобыла, которой скучно. Ей хочется экзотики, прыщавого бунтаря с рабочей окраины. И Ваня врубает перед ней режим «загадочного байронического героя». Помните сцену, где он прямо за праздничным столом заявляет Катиной матери, что ее дочь от него беременна? Это же чистая, незамутненная клиника. Патологический лжец и провокатор. Он проверяет, насколько глу-

боко можно запустить пальцы в мозги этому благопристойному семейству и как далеко ему дозволено зайти в своем хамстве. И кульминация их «духовной близости» – когда Катя фальшиво воет «Соловья», а этот гений берется подыгрывать ей на фортепиано. Дуэт двух дебилов, которые не знают, чего хотят от жизни.

Пушкина остановилась, ее лицо исказила гримаса глубокого, почти физического отвращения к человеческой глупости.

– Весь конфликт повести – это не конфликт поколений. Это конфликт работающих людей и паразитов. Профессор Кузнецов искренне пытается понять, о чем мечтает это племя. Помните его монолог? «Мы, наше поколение, желали изменить мир...» А что отвечает этот философ помоек Базин, Ванин кореш? «Я мечтаю купить пальто, потому что зима на носу, а мне ходить не в чем». Вот она, ваша сермяжная правда! Вся духовность «нового поколения» упирается в дефицитную тряпку. Ваня отдает ему свое пальто в финале – ублюдский, барский жест. На, подавись, я выше этого, я уйду в закат страдать.

Она спрыгнула со стола на стул, а со стула на пол – легко, бесшумно, словно кошка. Подойдя к первой парте, она снизу вверх посмотрела на двухметрового лоботряса Фекальева. Фекальев сжался, пытаясь мимикрировать под цвет классной доски.

– И самый страшный, гениальный финал, который вы, ка-

леки умом, никогда не поймете. Ваня видит парня, вернувшегося из Афганистана. Со шрамами на лице, со взглядом человека, видевшего ад. И Шахназаров бьет Ваню – а вместе с ним и вас – наотмашь по сытой морде. Автор говорит: «Пока ты, сука, страдал херней, строил из себя непонятого гения, хамил матери и клеил дур чужими стихами, там, в реальном мире, шла настоящая, страшная жизнь». И вся Ванина спесь слетает за секунду. Он понимает, что он – никто. Ноль. Пустое место, курьер, который даже посылку вовремя донести не может.

Александра Сергеевна вернулась к столу, аккуратно закрыла книгу и посмотрела на часы.

– Итак, господа дегенераты. Шахназаров написал эпитафию советскому строю, который сдох именно потому, что породил миллионы таких Вань – амбициозных, ленивых потребителей, умеющих только критиковать и требовать икру. До звонка три минуты.

Она села, вновь исчезая за стопками книг, и лишь ее колоссальный, удушающий авторитет продолжал парить над классом.

– К следующему вторнику, – донесся из-за томов ее бархатный голос, – напишете мне эссе на тему «Пролежни на душе Ивана Мирошникова». И упаси вас бог списать из Интернета фразу про «голос поколения». Я лично проверю каждую работу на плагиат и на наличие признаков головного мозга. Свободны.

«Лебедь, Щука и Рак», Крылов И. А.

Весенние сумерки наползали на провинциальный сквер N-ска густо и вкрадчиво, точно сироп, пролитый на паркет старинной усадьбы. Воздух, напоенный ароматами прелой земли и едва проклюнувшейся клейкой зелени, казался осязаемым, почти священным.

На потрескавшейся чугунной скамье, чьи витиеватые ножки глубоко ушли в культурный слой советского асфальта, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Картина эта являла собой торжество духа над бренной материей. Ступни ее крошечных, двадцать четвертого размера, ручной работы туфель не доставали до земли.

Свои девяносто сантиметров роста и двадцать пять килограммов живого веса Народный учитель РФ несла с монументальным достоинством римского патриция. Огромная, тяжелая голова с идеальным шиньоном, казалось, силой мысли удерживала маленькое тело от того, чтобы раствориться в вечности.

Рядом, почтительно согнувшись в три погибели, стоял завуч по воспитательной работе, юноша с лицом испуганного тапира.

— Вы только вслушайтесь, голубчик, — Александра Серге-

евна закрыла глаза, и голос ее, неожиданно густой, бархатный, полетел над чахлыми кустами сирени, словно орган в пустом соборе. – Какая божественная, кристаллическая полифония звуков! 1814 год. Империя празднует триумф над Наполеоном, дух народный воспаряет к небесам, а великий дедушка Крылов, этот титан нашей национальной мысли, создает чистейший хрустальный слепок бытия. «Когда в товарищах согласья нет...» Какая нежность, какое глубокое, почти библейское сострадание к предвечной трагедии человеческого разобщения! Каждое слово – как удар колокола, пробуждающий в душе сакральный трепет перед замыслом Творца. Лебедь, Рак и Щука – это же три лика единого космоса, три ипостаси метафизического поиска гармонии...

В этот момент тишину сквера бесцеремонно нарушил хриплый ор. Из-за кустов, пошатываясь, вывалились трое коммунальщиков в грязных оранжевых жилетах. Они безуспешно пытались катить мусорный бак: один тянул его на себя, второй толкал в бок, а третий, самый пьяный, просто повис на крыше, матерясь на всю улицу. Бак с грохотом перевернулся.

Глаза Александры Сергеевны распахнулись. В них больше не было сакрального трепета. Там зажглось холодное, хирургическое пламя. Она изящно поправила манжету, обнажив тонкое запястье размером с детскую сосиску, и сплюнула на асфальт.

– Тьфу, бляха-муха. Классическая иллюстрация ко второ-

му классу начальной школы. Вот вам и весь космос, молодой человек. Запомните: Иван Андреевич был редкой сволочью и гениальным мизантропом, а нам двести лет втирают эту басню как гимн командной работе. Хрен там. Это чистейший, дистиллированный трактат о клиническом эгоизме и беспросветной тупости так называемого человека.

Завуч икнул и втянул голову в плечи. Александра Сергеевна легко спрыгнула со скамьи, приземлившись с грацией фарфоровой статуэтки, и зашагала взад-вперед по аллее, заложив крошечные ручки за спину. Ментально она сейчас возвышалась над сквером, как «Дубайская башня».

– Давайте препарируем этот цирк, – чеканила она слова, словно рубила топором. – Текст говорит: «Везти с поклажей воз взялись». Взялись! Добровольно! Никто их под дулом пистолета в эту упряжку не загонял. И что мы видим дальше? «И вместе трое все в него впряглись». Вот тут и зарыта главная психологическая гниль. Нам со второго класса талдычат, что они не договорились. Чушь! Они прекрасно договорились. Проблема в том, что каждый из этой троицы – законченный нарцисс и латентный садист.

Она остановилась, ткнув маленьким пальцем в сторону испуганного завуча.

– Возьмем Лебедя. «Лебедь рвется в облака». Думаете, он хочет довезти поклажу? Ни в одном глазу! Лебедю насрать на воз, ему нужно продемонстрировать свой белоснежный кружевной анус всему честному миру. Это типичный твор-

ческий интеллигент, грантоед и хипстер. Он выше земных забот, он «в облаках». Он прекрасно понимает, что физика – штука упрямая, и вектор его тяги направлен строго перпендикулярно земле. Но лететь надо, потому что там рукопожатно и пафосно.

Александра Сергеевна сделала пируэт на каблуках.

– Теперь Рак. «Рак пятится назад». Это наш консерватор, чиновник, силовик на пенсии. Его кредо – «как бы чего не вышло». Он боится прогресса, он ненавидит движение вперед. Для него любое смещение веза – это угроза стабильности. Он упирается своими клешнями в асфальт не потому, что груз тяжелый, а из принципа. Чтобы все оставалось в говне, но зато в привычном.

Она ядовито усмехнулась, вспомнив, видимо, директора школы.

– И, наконец, Щука. «Щука тянет в воду». Абсолютно беспринципная, хладнокровная тварь. Ей вообще плевать на коллектив, у нее жабры сохнут. Она преследует исключительно шкурный, биологический интерес – свалить в свою мокрую зону комфорта и сожрать там карася.

Александра Сергеевна подошла вплотную к завучу. Из-за разницы в росте ей приходилось задираť голову, но казалось, что это она смотрит на него сверху вниз, из стратосферы своего цинизма.

– Понимаете ли вы, голубчик, всю бездну этого кошмара? Крылов написал не про то, что «надо дружить». Он по-

казал общество, где у индивидов полностью атрофирована эмпатия. «Из кожи лезут вон» – это же шедевр! Они имитируют бурную деятельность. Они потеют, пердят, надрываются, демонстрируют руководству невероятное рвение. Зачем? Чтобы в случае провала сказать: «Я-то из кожи вон лез, это те двое – козлы!» Это круговая порука безответственности. Каждый из них реализует свой личный комплекс за счет несчастного воза. А воз, между прочим, по тексту – «Поклажа бы для них казалась и легка». То есть задача – тривиальная! Цена вопроса – два рубля сорок копеек. Но они не сдвинут его никогда. Потому что если они его сдвинут, им придется признать существование друг друга. А для эгоцентрика признать, что рак или щука – тоже люди, это хуже смерти.

Она замолчала, тяжело дыша. Крошечная грудь под строгой блузкой бурно вздымалась. Двадцать пять килограммов чистой ярости.

– И финал, – тихо, с наслаждением прошептала она. – «Да только воз и ныне там». Это не констатация факта, мой юный друг. Это приговор. Диагноз. Прошло двести лет, а этот воз – наша национальная идея. Мы все впряглись, все лезем из кожи, все орем о согласии, но один летит в Дубай, второй пятится в тридцать седьмой год, а третий ворует бюджетные деньги в офшоры.

Александра Сергеевна царственным жестом поправила пальто, повернулась и, не прощаясь, пошагала прочь по аллее. Сзади она выглядела как первоклассница, прогуливаю-

щая уроки. Но завуч смотрел ей вслед с таким ужасом, словно мимо него только что прошествовал сам Люцифер в судейской мантии.

«Лев и собачка», Л. Толстой

Июньский закат над заброшенным кирпичным заводом на окраине города N тянулся густо, точно патока, заливая багровым гляncем груды разбитого шифера и разросшийся чертополох. В этой торжественной тишине угасающего дня, на вершине перевернутого бетонного кольца, сидела Александра Сергеевна Пушкина. Ее крошечные ножки в безупречных замшевых туфельках двадцать четвертого размера едва доходили до середины бетонного ребра, а фигура – всего девяносто сантиметров чистейшего, сконцентрированного интеллекта, – казалась монументом, высеченным из презрения к окружающему пейзажу.

Двадцать пять килограммов веса не мешали ей держать спину так, словно в ее позвоночник был залит свинец государственного стандарта. Народный учитель Российской Федерации задумчиво курила длинную тонкую сигарету, глядя на то, как ее коллега, физрук Нагавниев, он же просто Палыч, тщетно пытался разжечь мангал сырыми ветками ивы.

– Посмотрите на этот огонь, Палыч, – ее голос, неожиданно глубокий, бархатный, лишенный всякой пискливости, разрезал вечерний воздух. – Как он бьется, как ищет плоть для насыщения. В этом есть что-то первобытное, очищающее. Знаете, в такие минуты я всегда вспоминаю ту великую, недосыгаемую нежность, которую завещал нам граф Тол-

стой. Его «Лев и собачка» – о, это не просто детская быль. Это хрустальный храм абсолютной, дистиллированной любви, воздвигнутый посреди звериного хаоса бытия. Помните этот трепет? Собачка ложится на спину, поднимает лапки... Это же чистая литургия доверия! Беззащитность, побеждающая хищника. Лев, этот царь саванны, склоняет свою гордую гриву перед святостью невинной души. Они спали вместе, Палыч. Их дыхание сливалось в одно предвечное предчувствие рая, где лев возляжет с ягнёнком. Это симфония жертвенности, гимн абсолютному, неземному единению душ, перед которым меркнет вся наша земная суета...

Нагавниев в этот момент шумно выругался, раздувая угли старым журналом «Охота и рыбалка», и плеснул в мангал просроченного розжига. Химическое пламя с ревом взвилось вверх, обдав лицо учительницы вонючим сизым дымом.

Александра Сергеевна даже не зажмурилась. Она медленно повернула голову, и ее огромные, мудрые глаза филологического титана зажглись ледяным, хирургическим блеском. Возвышенная музыка в ее голосе мгновенно сменилась сухим, как щелканье затвора, калечащим цинизмом.

– Но если отбросить эту сопливую хрестоматийную патоку для умственно отсталых второклассников, Палыч, то Лев Николаевич написал гениальное пособие по абьюзивным отношениям и клинической психопатии.

Физрук Нагавниев замер с бутылкой розжига в руке.

– Вы только вдумайтесь в этот цирк, – Пушкина потряхнула

пепел на бетон. – Какой-то нищесброд, у которого не нашлось копейки на билет в зверинец, ловит на улице чужую собаку и швыряет ее на съедение. Что делает наша пушистая героиня? Вместо того чтобы умереть с достоинством, эта привокзальная шкура мгновенно включает режим профессиональной содержанки. Она падает на спину, задирает лапы и начинает бешено вилять хвостом. Это не «святость души», Палыч. Это чистый, животный стокгольмский синдром и кастинг на роль домашней рабыни. Она продала свою независимость за пайку львиного мяса. И как технично продала! Вскочила на задние лапки, сплясала перед альфа-самцом – и готово, контракт подписан.

Александра Сергеевна затянулась, ее крошечный силуэт на фоне багрового неба сейчас казался зловещим силуэтом инквизитора.

– А лев? О, этот канонический домашний тиран. Год они живут вместе. Он ее «не трогает». Какое великодушие! То есть факт небытия ее трупом возведен в ранг добродетели. Но наступает момент истины: приходит законный хозяин, барин. Хочет забрать свое имущество. И тут наш гривастый Отелло включает классическую бычку: ошетинился, зарычал. «Мое! Не отдам!» Это не любовь, Палыч. Это уязвленное эго собственника, который привык, что у него под лапой всегда есть живая игрушка для психологической разрядки.

Она сделала паузу, наслаждаясь тем, как Нагавниев медленно роняет челюсть.

– Но финал – это просто вишенка на торте этого экзистенциального кошмара. Собачкадохнет. Естественно,дохнет, у нее год был непрерывный стресс и рацион из объедков сырой конины. И что делает этот «благородный» хищник? Он неделюлизет труп. Некрофилия в чистом виде. А когда до егозаплывших жиром мозгов доходит, что аниматор больше неоживет, у него случается банальная истерика инфантила, у которого отобрали любимый самокат. Он начинает грызть засовы, биться о стены. Хозяин – еще один debil в этой цепочке – решает провести сеанс дешевой заместительной терапии икидает ему новую собаку. И тут проявляется вся истинная, гнилая природа этого кошачьего царя. Он рвет новуюсобачонку на куски за секунду.

Пушкина резко выкинула окуроч в мангал. Уголь с шипениемпогас.

– Понимаете парадокс, Палыч? Если бы он был преисполнен «великой скорби и гуманизма», как нам врут методичкииздательства «Просвещение», он бы к этой новой собаке вообще неприкоснулся. Или обнял бы ее, сиротку. Но нет! Он ее жрет, потому что она посмела нарушить его священный культ страдания. Ему не нужна была собака как живое существо. Ему нужен был его личный, конкретный коврич для ног. В итоге этот эгоистичный кусок шерсти пять дней обнимает гниющий труп и сдыхает от банального отказа печени и обезвоживания, потому что гордость не позволила пойти к миске. Граф Толстой показал нам великую трагедию:

два токсичных одиночества сошлись в клетке, одно приспособленчески выживало, второе тешило свой комплекс бога, а в конце оба сгнили – одна буквально, второй фигурально. Гениальный текст. Чистая анатомия человеческого эгоизма, замаскированная под сказку для детей.

Александра Сергеевна легко, одним кошачьим движением соскочила с бетонного кольца, оправляя юбку. Ее малый рост сейчас совершенно не замечался – казалось, она возвышается над этим пустырем, заводом и самим Нагавниевым, как монументальный судия человеческих пороков.

– Ну что, Палыч, – сухо закончила она, – мясо-то готово? Или вы, подобно толстовскому льву, планируете кормить меня сырой кониной во имя своих нелепых идеалов? Не бойтесь, много не съем.

«Левша», Николай Лесков

Июньский закат густо, как вишневый сироп, окрашивал скрипучие доски старого речного дебаркадера на окраине Н-ска. Старая пристань, давно заброшенная речфлотом, тихо дышала сыростью, мазутом и прелой травой. Над рекой кружили тяжелые жуки, и тишина стояла такая монументальная, какая бывает только в глубине России, где само время словно застревает в прибрежном иле.

На краю причала, на перевернутом деревянном ящике из-под советского солидола, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Народный учитель Российской Федерации, чей филологический гений десятилетиями держал в ужасе и благоговении все областное министерство образования, выглядела обманчиво крошечной.

Девяносто сантиметров роста и двадцать пять килограммов веса, упакованные в безупречное английское твидовое пальто, делали ее похожей на фарфоровую куклу, которую кто-то забыл на старой барже. Но в ее тяжелом, неподвижном взгляде огромных черных глаз, устремленных на тлеющий горизонт, угадывался масштаб личности, способной сровнять с землей любой педсовет.

Рядом на корточках сидел Теймураз Куидзе – бывший двоечник, а ныне тридцатилетний местный лодочник, чинивший старый подвесной мотор «Вихрь».

– Посмотри на этот простор, Тимурчик, – тихо, певуче произнесла Александра Сергеевна, и ее глубокий, грудной альт, совершенно не вязавшийся с детским телом, разнесся над водой. – Какая акварель, какая шишкинская статья... В такие минуты понимаешь, отчего русская душа столь неизбывно тоскует по идеалу. Помнишь ли ты Николая Семеновича Лескова? Нашего гениального праведника, соткавшего из тончайшего словесного кружева монументальный памятник русскому духу – «Левшу»? О, это не просто сказ. Это сакральный гимн великому, непостижимому народному гению, который дремлет в недрах нашей святой Руси! Какая трагедия художника, какая боль за самородочную душу, способную утереть нос спесивой Европе своей наивной, почти ангельской чистотой...

Куидзе, затаив дыхание, замер с гаечным ключом. Из его глаз едва не капала слеза умиления перед великой русской культурой.

В этот момент «Вихрь» под рукой Теймураза оглушительно чихнул, плюнул черным вонючим маслом прямо на безукоризненный левый ботинок Александры Сергеевны двадцать четвертого размера и окончательно заглох.

Взгляд Пушкиной мгновенно остекленел. Славянофильский пафос испарился, как спирт на жаре. Она медленно перевела глаза с ботинка на Куидзе, и ее лицо исказила гримаса такого леденящего, утробного цинизма, что лодочник невольно втянул голову в плечи.

– Сука, – отчетливо и емко подвела итог Александра Сергеевна. – Прямо как в первоисточнике. Криворукое племя. Тимур, отложи свой металлолом и послушай, что этот Лесков написал на самом деле, если убрать из башки школьный кисель.

Она достала из кармана крошечный портсигар, изящно прикурила тонкую сигарету и затянулась, обдав Куидзе дорогим табачным дымом.

– Весь этот «Левша» – это не гимн гению, Тимурчик. Это клинический разбор тотального, неизлечимого идиотизма, национальной гордыни и рабского мазохизма. Давай препарируем сюжет без соплей. Жили-были три тульских оружейника. Приезжает к ним казак Платов, сует под нос английскую механическую блоху и орет: «Сделайте лучше, а то запорю!» Что делают наши «гении»? Проявляют ли они инженерную мысль? Создают ли свой чертеж? Улучшают ли аэродинамику? Хрен там. Эти три дегенерата закрываются в избе, две недели истово молятся Николаю Угоднику – классический стартап по-русски, когда вместо ТЗ у нас упование на чудо – а потом берут молотки.

Александра Сергеевна стряхнула пепел прямо в реку, ее маленькие ножки в ботинках болтались далеко от земли, но ментально она сейчас высилась над дебаркадером как Колосс Родосский.

– И что же они делают, Теймураз? Они берут готовую, сука, работающую микроскопическую машину английского

производства и... подковывают ее. Ты хоть раз задумывался, в чем глубинная суть этого акта? Они не создали ничего нового. Они взяли чужой шедевр хай-тека и навесили на него три пуда бесполезного железа. Левша, этот косой недоносок, гордо заявляет: «А я еще мельче гвоздики выковывал, которыми подковки забиты, там никакой мелкоскоп не возьмет!» И наши академики в учебниках умиляются: ах, каков Левша, без мелкоскопа работал! Да у него просто терминальная стадия астигматизма была, он фокус поймать не мог!

Она зло сплюнула.

– А теперь финал этой технологической инновации. Блоха от этих подков... перестала танцевать. Понимаешь? Они сломали механизм! Тончайшая английская пружина внутри брюшка лопнула под весом тульских нанотехнологий. Это же чистый, дистиллированный саботаж из-за ущемленного эго! «Мы им нос утерли!» Чем, бляха-муха? Тем, что превратили работающий гаджет в мертвую грудку сувенирного лома?

Теймураз Куидзе разинул рот, судорожно соображая.

– Но ведь... Александра Сергеевна, его же в Англию звали! Наперебой! Значит, ценили? – робко вставил он.

– Звали, – хищно осклабилась Пушкина. – Как диковинную зверушку в зоопарк. Ему там предлагают: оставайся, дурак, мы тебя выучим, ты арифметику узнаешь, законы механики, будешь инженером, человеком станешь. А что отвечает наш святой праведник? «У меня, – говорит, – дома матушка, и православие, и царь-батюшка, а у ваших девок пла-

тъя без порток, тьфу на вас». Это же апофеоз тупости и зашоренности! Человек не хочет идти на повышение, потому что какие-то формулы придется учить. Ему гордость греет душу: он блоху подковал. Жрать нечего, крыша течет, зубов половины нет, зато англичан на хрен послал!

Она сделала последнюю затяжку и швырнула бычок в воду. Жужжание жуков казалось теперь реквиемом по здравому смыслу.

– И как Лесков заканчивает этот цирк? Левша плывет обратно. На корабле он находит такого же синебола – английского полшкипера. И они на спор начинают жрать водку в промышленных масштабах. Пьют до чертей, до беспамятства, словно финны, по всему Балтийскому морю. Приезжают в Петербург. Англичанина, как подданного короны, везут в теплое посольство, зовут докторов. А нашего «гения», самородка земли русской, полиция выкидывает из телеги прямо на холодные камни. У него документов нет. Его таскают из одного приемного покоя в другой, обдирают уши, роняют. И он подышает на грязной соломе в больнице для нищих, успев перед смертью прохрипеть великую государственную тайну: «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят».

Александра Сергеевна резко встала. При ее росте это движение было почти незаметным, но Куидзе инстинктивно отпрянул, словно перед ним поднялась кобра.

– Слышишь, Тимурчик? Смысл всей его нищей, убогой,

изуродованной жизни свелся к тому, чтобы перед смертью рассказать начальству, как правильно чистить стволы. А начальству, кстати, насрать – граф Чернышев на это заявление только плюнул. Вот тебе и весь Левша. Маленький самородок, который сломал чужую вещь, пропил мозги на пару с иностранцем и сдох под затухающий салют собственной гордыни. Гениальная книга, Тимурчик. Абсолютно безжалостный диагноз святой вере в то, что кувалда и трехэтажный мат заменяют образование.

Она аккуратно поправила подол твидового пальто, взвалила на плечо свою крошечную сумочку и, не оборачиваясь, пошла по шатким доскам дебаркадера к берегу, оставляя за собой маленькие следы: один чистый, другой – мазутный.

– Александра Сергеевна! – крикнул ей вслед ошарашенный лодочник. – А с мотором-то мне что делать?!

Она приостановилась, повернув к нему свой точеный профиль строгой античной камеи.

– Помолись Николаю Угоднику, Теймураз. И ударь по нему кирпичом. Англичане одобрят.

Леннрот, Элиас

Александра Сергеевна Пушкина, Народный учитель РФ и обладательница колоссального филологического ума, упакованного в крошечное тело ростом девяносто сантиметров, сидела на лакированном стуле в пустом кабинете русского языка и литературы. На дворе догорал душный день. Позади осталась проверка тридцати выпускных сочинений, в которых глупость человеческая традиционно маскировалась под патриотический пафос.

В ее сумочке, среди изящных платков и томиков с трудами неовизантийских философов, покоилась плоская фляжка с ледяной, обжигающей водкой «Финляндия». Александра Сергеевна сделала три аккуратных глотка. Горло обожгло чистым спиртовым холодом. Пушкина зажмурилась, напрочь позабыв, что ее изощренный мозг имеет скверную привычку конвертировать качественный алкоголь в неконтролируемые ментальные путешествия во времени.

Когда Александра Сергеевна открыла глаза, ее лакированные туфли двадцать четвертого размера тонули в густом, седом мхе. Вокруг расстилалась панорама величественного, сурового северного рая. Вековые сосны, словно мачты титанических кораблей, уходили в хрустальное, пронзительно-синее небо Суоми. Воздух был так чист, что казался осязаемым, наполненным тонким звоном невидимых струн.

Вдали, среди зеркальной глади бесчисленных озер, клубился мистический туман, словно дыхание древних богов, покинувших эту землю лишь на мгновение.

У подножия гранитной скалы, на замшелом бревне, сидел благообразный господин в безупречном европейском сюжете. Его высокий лоб мыслителя был обращен к закату, а в руках он держал перьевую ручку и потрепанную кожаную тетрадь. Это был Элиас Леннрот – великий собиратель смыслов, сотворивший из векового безмолвия карельских лесов бессмертную «Калевалу», вернув целому народу его утраченную душу и мифическое величие. В его облике сквозила святая, апостольская преданность искусству слова.

Александра Сергеевна благоговейно замерла, ее филологическое сердце трепетало от осознания масштаба гения, пробудившего нацию из этнографического сна.

– Боже мой, Элиас... – тихо прошептала она, прижимая крошечные ручки к груди. – Какая первозданная, сакральная глубина. Какая музыка рун, сшивающая клочья крестьянской памяти в сияющий панцирь национального духа.

Леннрот вздрогнул, опустил взгляд и уставился на стоявшую перед ним карлицу весом в двадцать пять килограммов. Однако на ее строгом, интеллигентном лице предпенсионного возраста вдруг отразилась гримаса глубочайшего, леденящего цинизма. Она поправила очки в тонкой золотой оправе и смачно сплюнула в черничную поросль.

– Ладно, доктор, кончай косплеить апостола Иоанна, –

резко сменила тон Пушкина, и ее голос зазвучал как скрип несмазанной телеги. — Давай снимем эти романтические сопля с ушей. Поговорим как филолог с фальсификатором.

Леннрот опешил, выронив перо.

— Послушайте, сударыня... — начал было он на чистейшем шведском языке, но Александра Сергеевна бесцеремонно перебила его на общерусском академическом.

— Что «сударыня»? Ты кого тут лечишь, сельский эскулап? Ты мне зубы не заговаривай своими вековыми соснами. Я твою «Калевалу» наизусть знаю, и ценность ее как исторического источника равна нулю. Давай честно: ты ведь приехал в эти глухие карельские болота, потому что в Гельсингфорсе шведская элита со скуки дохла и требовала диковинку. Жила-была тишайшая чухонская провинция. Столетиями люди сидели по баням, ловили тухлую салаку, ковыряли мох и в ус не дули. Александр Благословенный им, сиротам, государственность с барского плеча подарил, автономию выписал, а Николай Палкин еще и таможеню организовал. Живи и радуйся! Но нет же, интеллигенции скучно стало. Интеллигенции понадобился великий эпос, чтобы перед шведами хвост распушить.

Пушкина подошла ближе, ее крошечный рост заставил растерянного доктора смотреть на нее сверху вниз, но ментальное давление лилипутки буквально вжимало его в бревно.

— И что делаешь ты? Ты собираешь по деревням обрыв-

ки пьяных частушек местных пастухов, путаешь карельские руны с финскими матюками, а потом запираешься в кабинете и сшиваешь из этого лоскутное одеяло! Ты же сам дописал добрую треть текста, Элиас! Ты выдумал эту вашу кузницу Сампо и Вяйнямейнена просто потому, что у твоих соплеменников фантазии не хватало подняться выше описания удочки и надоя коров. Ты создал текстуальный гипноз. Ты внушил мирным рыбакам и лесорубам, что они – потомки арийских колдунов и титанов.

– Это пробуждение национального самосознания! – пылко возразил Леннрот, багровея.

– Это конструирование шизофрении, дурачок ты эдакий, – отрезала Пушкина, цинично заглядывая в его тетрадь. – Твой гуманистический романтизм – это запал для бомбы. Вы, поэты и филологи, абсолютно слепы в своей кабинетной тишине. Вы думаете, что играете в красивые метафоры. А теперь посмотри, чем обернется твоя «Калевала» через сто лет, когда ее прочитают закомплексованные мальчишки из Академического Карельского общества. Они ведь уверуют в твою сказку. Они назовут себя «будителями нации», защитниками высшей финской расы. Твой чистенький эпос они превратят в пещерную «рюсся-виху» – культ зоологической ненависти к русским.

Александра Сергеевна сделала шаг назад, ее маленькие пальцы сжались в кулаки.

– Начитавшись твоих стишков о «Великой Финляндии»,

вчерашние тихие хуторяне устроят Выборгскую резню, где подростков-гимназистов будут стрелять в канавах просто за то, что они говорят по-русски. Твоя эстетика обернется обыкновенным грязным фашизмом и топором. А в сорок первом они возьмут немецкие автоматы, придут в Петрозаводск и построят концлагеря для русских детей. Они будут морить их голодом за колючей проволокой и замерять черепа, сверяясь с твоими рунами! Вот она, изнанка твоего художественного подвига. Ты дал дикарям красивую обертку для их мелкой хуторянской зависти и комплекса неполноценности перед великим соседом. Ты написал некролог для своего народа, Элиас.

Леннрот сидел бледный, как полотно, судорожно сжимая тетрадь, не в силах ничего противопоставить этой беспощадной, выжженной логике карлицы-пророка.

...Александра Сергеевна очнулась за своим рабочим столом в кабинете русского и литературы. На доске мелом по-прежнему было размашисто написано: «Тема: Романтизм в западноевропейской литературе». За окном была все та же духота.

В класс вошел предводитель неформального школьного праворадикального кружка, десятиклассник Серега Ховновский, и протянул ей на проверку тетрадь, на которой был нарисован странный рунический знак.

Пушкина медленно встала, ее голова едва возвышалась над учительским столом, но ментальный масштаб лилипутки

заставил Ховноверского инстинктивно вжать голову в плечи.

– Ховноверский, – ласково, со зловещей партийной нежностью пропела Александра Сергеевна. – Завтра принесешь мне реферат на тему «Влияние финского травести-бурлеска на шизофренический генезис малых наций». И не дай бог тебе там упомянуть хоть одну руну. Я из тебя твое волшебное Сампо без наркоза вытрясу. Вопросы есть?

Сергея Ховноверский судорожно замотал бритой головой и попятился из кабинета. Пушкина удовлетворительно кивнула и открыла журнал.

Лермонтов Михаил Юрьевич

Октябрьский вечер в провинциальном Энске дышал сыростью и безнадежностью. В своей малогабаритной хрущевке Александра Сергеевна Пушкина – Народный учитель РФ, женщина девяноста сантиметров роста и двадцати пяти килограммов чистого филологического тротила – сидела в кресле, на котором лежали три тома «Словаря языка Пушкина», заменяя ей подушку для высоты.

Ее мысли, легкие и прозрачные, как осенний воздух, уносились в те времена, когда русское слово еще обладало весом и плотью. О, Кавказ! Синие горы, увенчанные ледяными диадемами, где воздух чист, как поцелуй младенца, а честные контрабандисты скрываются в прибрежных скалах под аккомпанемент бурлящего Терека.

Александра Сергеевна с благоговением, бережно, словно хрустальный кубок, подняла со стола граненый стакан. В нем темнела густая, пахнувшая виноградной лозой и южным солнцем кавказская чача – подарок благодарного выпускника, ныне торгующего на рынке сухофруктами. Она сделала глоток, и огненная жидкость омыла ее измученные союзом «ибо» гланды.

Воздух в комнате вдруг сгустился, запахло конским пометом, порохом и турецким табаком. Александра Сергеевна моргнула. Хрущевка исчезла. Она сидела на колченогом та-

бурете в полутемной мазанке Пятигорска. За окном шумела буря, а у раскрытого окна, кутаясь в шинель, стоял невысокий, сутулый офицер с кривыми ногами и непропорционально большой головой. У него были редкие волосы и злые, бегающие цыганские глаза.

Александра Сергеевна чертыхнулась про себя. Опять. Ну сколько раз она затыкала свой филологический гений обещанием не пить крепче кефира? И каждый раз эта сивуха отправляет ее хронотоп в глубокий нокаут. Впрочем, паника длилась три секунды. Масштаб ее личности, запертый в теле куклы, мгновенно адаптировался.

Офицер обернулся, презрительно оглядел гостью, задерживая взгляд где-то на уровне ее детских туфелек 24-го размера, и процедил:

– Что это за порождение кавказской фауны? Уж не чеченский ли шпион-карлик прислан по мою душу?

Александра Сергеевна поправила очки в роговой оправе, спрыгнула с табурета, оказавшись поручику Лермонтову ровно по пояс, и сухо ответила:

– Мишель, завалите хлебало. Я пришла поговорить о вашей макулатуре, которую мне уже тридцать пять лет приходится вдальблывать в головы дегенератов.

Лермонтов поперхнулся табачным дымом:

– Да как вы смеете! Я – голос поколения! Я оплакал Пушкина! Мой Печорин – портрет, составленный из пороков нашего времени!

– Ваш Печорин, Мишель, – Александра Сергеевна цинично ухмыльнулась и заложила руки за спину, меряя шагами земляной пол, – это не портрет поколения. Это портрет избалованного, закомплексованного мажора с тяжелой формой нарциссизма и пубертатным синдромом Бога. Вы же списывали его с себя, дорогой мой. Давайте снимем эти романтические сопли и посмотрим на факты.

Она остановилась и снизу вверх пригвоздила поэта взглядом, от которого у одиннадцатиклассников обычно случался энурез.

– Вся ваша великая проза – это гимн токсичности и эмоциональному абьюзу. Что делает ваш «герой»? От скуки разрушает жизнь несчастной Бэлы. Зачем? Чтобы доказать себе, что он может поймать дикарку? Как только игрушка надоедает – он зевает. А контрабандисты в Тамани? Жили люди, никого не трогали, возили богатые шелка, персидские ковры и бархат. Приперся Печорин, засунул свой нос куда не просят, едва не был утоплен хрупкой девушкой, разорил слепого калеку и старуху, разрушил чужую бандитскую романтику и уехал в закат с гордо развевающимся плащом. Это не «лишний человек», Мишель. Это просто бытовой вредитель. Паразит.

– Вы не понимаете движения души! – вспыхнул Лермонтов, багровея. – Он страдает! Его душа расколота!

– Его душа расколота, потому что ему в детстве бабушка Арсеньева дула в задницу и внушила, что он пуп земли!

– отрезала Пушкина. – Из-за вашего непомерного эго страдает единственная нормальная женщина в романе – Вера, которую вы превратили в коврик для вытирания ног. А история с княжной Мери? Это же чистейшей воды подростковый реваншизм. Печорин соблазняет девочку только для того, чтобы утереть нос Грушницкому. Кстати, о Грушницком. Вы ведь написали его, чтобы оправдать собственную низость. Вам так хотелось выглядеть циничным суперменом на фоне глупого юнкера. Но на дуэли Печорин – обычный убийца, который хладнокровно пристрелил человека, который уже промахнулся и стоял безоружным.

Лермонтов схватился за эфес шашки, его руки дрожали.

– Вы судите гения законами толпы! Мой Демон...

– О, ваш Демон! – Александра Сергеевна рассмеялась мелким, сухим смехом, от которого зазвенели стаканы на столе. – Вот уж где апофеоз инфантильного нытья. Духовный беженец, которому скучно править миром, решает затащить в постель грузинскую княжну. И как только Тамара соглашается – он убивает ее своим поцелуем. Знаете, как это называется в клинической психиатрии? Некрофилический садизм на почве заниженной самооценки. Вы, Мишель, великий поэт формы. Ваша версификация безупречна, ритмика гениальна. Но месседж? Месседж вашей жизни и творчества – это манифест обиженного мальчика, которому недодали внимания. Вы всю жизнь напрашивались на пулю, потому что вам казалось, что умереть в тридцать три от цир-

роза – неромантично, а вот словить маслину на дуэли – это стильно, модно, молодежно.

Она подошла вплотную к замершему офицеру. Физически она едва доставала ему до локтя, но Лермонтову казалось, что над ним выросла исполинская каменная глыба, готовая раздавить его своим авторитетом.

– Мартынов убьет вас через несколько дней, – тихо и безжалостно произнесла Александра Сергеевна. – И убьет не потому, что он злодей, а потому, что вы его задолбали своими тупыми шутками про его кавказский костюм и кинжал. Вы просто не умели вовремя закрыть рот. Вы гениально владели словом, но абсолютно не владели эмпатией. Вы умерли, так и не став взрослым мужчиной. Жаль. Могли бы написать что-то действительно стоящее, если бы вылезли из своей скорлупы самолюбования.

Она презрительно фыркнула, повернулась на каблуках и сделала шаг к столу, где стояла бутылка.

– Прощайте, поручик. Писали вы красиво, но человек были – говно.

Александра Сергеевна схватила материализовавшийся в руке стакан, зажмурилась и единым духом выпила остатки жидкости.

Пространство схлопнулось с сухим треском.

...Она сидела в своем кресле в Энке. На коленях лежал раскрытый учебник литературы за 9 класс. Со стены на нее привычно и высокомерно смотрел портрет Лермонтова

с кавказскими газырями на черкеске.

Александра Сергеевна вздохнула, аккуратно поставила пустой стакан на тумбочку и пробормотала:

– Завтра опять им рассказывать про «глубокий раскол личности Печорина». Ладно, напишем на доске тему, пускай конспектируют. Все равно половина из них пойдет в ПТУ, там Лермонтов не нужен.

Леся Украинка

Небо над Волынским краем расстиралось тяжелым, предгрозовым атласом, вбирая в себя густые, маслянистые тени полесских дубрав. Воздух, казалось, был настоян на вековой горечи дикого меда и хвое, и в этой звенящей, почти сакральной тишине рождался тот самый высокий стиль девятнадцатого столетия, соткавший из тумана и народных слез великую мифологию духа.

Александра Сергеевна Пушкина заворуженно созерцала, как сквозь кружево плакучих берез проглядывают очертания старой усадьбы в Колодяжном. Сердце ее, извечно ранимое истинной красотой слова, трепетало: здесь, среди мхов и папоротников, ковался негибавый канон полесского стоицизма, здесь хрупкая дева претворяла личную боль во все-ленский плач о свободе!

Александра Сергеевна моргнула, чихнула от резкого запаха дегтя и устала на свои лакированные туфли двадцать четвертого размера. Туфли утопали в густой, жирной грязи.

– Твою же мать, опять, – отчетливо и емко проскрипела она, силясь вытащить ногу из волынского глины.

Память услужливо подсказала: полчаса назад в своей хрущевской квартире на окраине N она, устав проверять изложения девятых классов, откупорила стопку закарпатского коньяка. Коньяк был клопоморный, но согревающий. И вот

результат – очередной пространственно-временной коллапс на почве алкогольного эксцесса.

Придерживая подол строгого юбочного костюма, Народный учитель РФ, чья макушка едва достигала пупка средне-статистического селянина, огляделась. Рост в девяносто сантиметров и вечные двадцать пять килограммов веса вырабатывали в ней привычку смотреть на мир снизу вверх исключительно физически. Ментально же Александра Сергеевна плевала на человечество с высоты Останкинской телебашни.

На веранде усадьбы в плетеном кресле, укутанная в теплую шаль, сидела бледная, истощенная чахоткой молодая женщина с тонкими губами и лихорадочным блеском в глазах. Лариса Петровна Косач. Леся Украинка собственной персоной.

Александра Сергеевна, тяжело вздыхая и проклиная отсутствие асфальта, доковыляла до веранды, взобралась на ступеньку, чтобы оказаться хотя бы на уровне колен поэтессы, и без приглашения опустилась на низкую табуретку.

– Здравствуйте, Лариса Петровна, – сухо сказала Пушкина, поправляя очки в роговой оправе. – Извините, что без реверансов. У меня к вам, как у филолога к филологу, накопился ряд тяжелых вопросов. Давайте снимем эти сусальные одежды «дочери Прометея» и поговорим как взрослые, циничные люди.

Леся Украинка удивленно воззрилась на странное существо академического вида размером с трехлетнего ребенка.

– Вы кто, милое дитя? – тихо спросила она.

– Я не дитя, я ваше послезавтра, – отрезала Александра Сергеевна, чей зычный, поставленный тридцатипятилетним ораторским стажем альт заставил поэтессу вздрогнуть. – Давайте сразу к делу. Ваша «Лесная песня» – технически безупречная вещь. Мифологический синкретизм, драма, нимфы. Но скажите мне, голубушка, зачем вы из вашей глубокой личной трагедии и тяжелой инвалидности затеяли этот грандиозный, пафосный конструкт под названием «украинский национальный миф»? Вы же образованная женщина. Вы же на латыни и немецком читали. Зачем этот местечковый сепаратизм?

Леся выпрямилась, в ее глазах мелькнула гордость потомственной шляхтянки:

– Мой народ заслуживает своей песни! Мы отдельная, великая культура, лишенная своего голоса в имперской неволе! Наша аутентичность...

– Да бросьте вы эту методичку для сельских кружков самодетельности! – Александра Сергеевна пренебрежительно махнула маленькой, сухой ладошкой. – Какая аутентичность? Вы – дворянка, дочка действительного статского советника Косача и Олены Пчилки. Вы выросли на немецких романтиках и французских символистах. Весь ваш «национальный дух» – это кабинетная выдумка сытой интеллигенции, которой скучно жилось в своих поместьях. Вы взяли рафинированный европейский романтизм, переодели его в

вышиванку и выдали крестьянам, которые букв-то не знали! Ваш национализм родился не от любви к мужику, а от глупейшего шляхетского снобизма и подросткового желания уязвить Петербург.

Леся побледнела еще сильнее, закашлялась в кружевной платок:

– Вы не понимаете... Слово – это оружие! Мы возвращаем свое право на бытие!

– Оружие? Ну-ну, – цинично усмехнулась Александра Сергеевна, скрестив руки на груди. – Вы конструируете нацию на отрицании. «Мы не они». Это же тупик, деточка. Вы обиделись на Валуевский циркуляр и решили назло бабушке отморозить уши. Но ладно бы просто стишки. Вы же закладываете мину под будущее. Ваш национализм – это сугубо терапевтический конструкт для компенсации собственной немоции. Вам больно, у вас туберкулез костей, вы заперты в своем теле, как и я, к слову. Но я свою ущербность компенсирую колоссальным филологическим умом и цинизмом, а вы решили заставить страдать миллионы, придумав им суррогат величия из этнографических баек.

– Мои герои – титаны! Мавка, Кассандра! – горячо воскликнула Леся.

– Ваши герои – психически неуравновешенные эгоцентрики, – отрезала Пушкина. – Посмотрите на вашу Мавку. Это же гимн абсолютной социальной безответственности. Пришла из леса, совратила парня, разрушила его хозяй-

ство, сломала жизнь его матери – нормальной, кстати, работающей бабе, которой зимой жрать нечего будет из-за этих лесных блудней. И ради чего? Ради «высоких чувств»? Это чистой воды инфантилизм, возведенный в культ. Вы проповедуете хуторскую изоляцию. Ваш посыл прост: сиди в своем болоте, слушай сопилку, крути дули соседям и гордись тем, что ты не такой, как они. Вы заменяете реальный цивилизационный прогресс копанием в черепках и вышиванием крестиком. Это не возрождение культуры, Лариса Петровна. Это хуторской фашизм в зародыше, замешанный на глубокой личной фрустрации.

Леся Украинка смотрела на полуторааршинную гостью с ужасом и затаенным восхищением – масштаб этой ядовитой логики пугал.

– Но искусство... искусство должно служить идее! – прошептала поэтесса.

– Искусство должно служить вечности, дура вы с посмертным памятником, которого вы еще не заслужили! – Александра Сергеевна резко встала, отчего табуретка покачнулась. – А когда вы запрягаете Кассандру в телегу местечковой пропаганды, получается не трагедия, а агитка для съезда партии. Вы заперли свой недюжинный талант в тесную хату с соломенной крышей, просто чтобы доказать Романовым, что вы гордая. Цена этой вашей гордости в будущем – кровь и копать. Потому что любой национализм, начавшись с красивой сказки о левкоях и мавках, всегда заканчивается по-

громом и поиском «неправильных» соседей. Человеческая природа говенна, Лариса Петровна. Дай людям повод считать себя «избранными по праву почвы» – и они превратятся в скотов. А вы им этот повод заботливо рифмуете.

Леся закрыла лицо руками. Александра Сергеевна посмотрела на нее – бледную, несчастную, задыхающуюся – и в груди ее на секунду шевельнулась филологическая нежность к этой обреченной женщине. Но цинизм победил.

– Ладно, засиделась я у вас. Коньяк, видать, выветривается. Желаю творческих успехов в Египте, или куда вы там лечиться едете. И помните: текст всегда умнее автора. Вашу «Лесную песню» филологи будущего очистят от вашего же политического триппера.

Мир вокруг покачулся, волынские дубы поплыли, пре-вращаясь в вертикальные полосы.

Александра Сергеевна открыла глаза. Она сидела на своем кухонном табурете в родном N. Перед ней лежала стопка тетрадей девятого «Г» и пустая стопка из-под коньяка. Из окна дуло провинциальной сыростью.

Она поправила очки, взяла красную ручку и придвинула к себе верхнюю тетрадь. На обложке неровным почерком было написано: «Изложение. Образ Мавки как символ свободы».

– Свободы они захотели, бездельники, – проворчала Александра Сергеевна и размашисто вывела на полях жирную двойку. – Сначала деепричастные обороты выучите, титаны хуторские.

«Летний вечер», Блок А. А.

Июньское солнце вползало в класс русского языка и литературы на манер жирного, ленивого слизня, оставляя на иссохшем линолеуме блестящие следы пыльных лучей. За окном уныло плавился провинциальный N: пахло пережаренным подсолнечным маслом из чебуречной, раскаленным гудроном и безысходностью. В самом классе, предназначенном для предэкзаменационных консультаций девятого «Г», царил дух глухого безразличия.

Девятиклассницы – сборище раннеспелых нимф с неопрятными накладными ногтями и ментальным диапазоном микроволновой печи – вяло листали ленты в телефонах. Парни, пахнущие дешевым дезодорантом и вейпом со вкусом химозной земляники, лениво переругивались на задних партах.

Александры Сергеевны Пушкиной за учительским столом видно не было. Точнее, ее не было видно из-за стопки томов Белинского. Народный учитель РФ, женщина предпенсионного возраста и обладательница девяноста сантиметров роста при двадцати пяти килограммах веса, сидела на специальном высоком детском стульчике с подставкой для ног.

Ее крошечные, размером с кукольные, туфли едва заметно покачивались над бездной паркета. Великий филологический ум, запертый в теле фарфоровой статуэтки, созерцал

это антропологическое недоразумение, именуемое классом, сквозь стекла очков в массивной роговой оправе.

Она мягко, почти интимно, коснулась томика стихов Серебряного века. Когда Александра Сергеевна начинала говорить о литературе, ее голос – густой, бархатный альт, совершенно не вязавшийся с кукольной комплекцией – заставлял даже самых прожженных школьных дегенератов на секунду вынуть пальцы из носа.

– Господа, – выдохнула она, и в классе поплыл густой, осязаемый аромат девятнадцатого столетия. – Обратите взоры свои к истокам. Ранний Блок. 1898 год. Юный гений, чистый, как первый снег над Шахматово, улавливает тончайшие вибрации угасающего дня. Послушайте, как музыка сфер перетекает в буквы: «Дремотой розовой объята / Трава некошенной межи...» Какая сакральная тишина! Какое благоговение перед вечным покоем природы, перед этой девственной, нетронутой косою землей. Какое целомудрие мысли! Поэт призывает нас сбросить оковы земной суеты: «Забудь заботы и печали...» Это же чистый Сириус, господа. Это гимн абсолютному, метафизическому освобождению духа, стремящегося в туманные луговые дали, навстречу первозданной ночной луне...

В этот момент на первой парте Снежана Светлоплатина, чье лицо выражало скорбь всех не купивших вовремя новый айфон, громко и сочно зевнула, издав звук, похожий на крик раненой выпи, а затем смачно втянула носом сопли.

Альт Пушкиной оборвался на полуслове. Маленькие пальчики, сжимавшие обрез книги, побелели. Взгляд Александры Сергеевны, секунду назад блуждавший в эмпиреях, сфокусировался на Снежане с мощностью гидравлического преса. Девяносто сантиметров чистой ярости нависли над столом.

– Светлоплатина, – тихо, но отчетливо произнесла Пушкина, и стиль ее речи мгновенно совершил пике из дворянской усадьбы напрямик в привокзальную рюмочную. – Закрой свое хлебало, из него воняет невыученными уроками и дешевым энергетиком. Ты зеваешь потому, что твоя подкорка физически не способна переварить ничего сложнее инструкции к освежителю воздуха. Давай я переведу тебе Блока на понятный твоему плебейскому уму язык. Вы же этот стих на внеклассном чтении уже проходили как «пейзажную лирику»? Картинка, птички, травка? Училка ваша сопли умиления на кулак наматывала?

Класс замер. Даже хулиган Егор Калаедов перестал грызть колпачок ручки.

– Так вот, Светлоплатина, и вы, стадо гормональных экстремистов, слушайте сюда, – Александра Сергеевна оперлась крошечными кулачками о стол, отчего ее ментальный масштаб мгновенно заполнил всю семидесятиметровую комнату, превратив учеников в жалких пигмеев. – «Летний вечер» Блока – это не про природу. Это первый в русской литературе манифест рафинированного, конченного эгоизма и социо-

патии дворянского мажора. Давайте препарируем этот труп романтизма.

Она с сухим стуком перевернула страницу.

– «Последние лучи заката лежат на поле сжатой ржи». Кем сжатой, Светлоплетина? Александром Александровичем? Хрен там плавал. Ржицу сжали крестьянки, у которых от этой страды матка опустилась и пальцы в кровь стерты. И вот эти бабы, отпахав шестнадцать часов на солнцепеке, еле волоча ноги, поют. Почему они поют? От хорошей жизни? Нет, сука, от безысходности и чтобы не сдохнуть по дороге от теплового удара! «И замирает песня жницы среди вечерней тишины». Баба просто доползла до сеновала и вырубилась без чувств.

Пушкина поправила очки, ее глаза цинично блеснули.

– И тут на сцену выходит наш лирический герой. Надушенный барчук, у которого главная жизненная трагедия – прыщ на лбу или то, что маменька на завтрак подала сливки не той жирности. Он смотрит на эту некошеную межу, на уставших в хлам крестьян и выдает шедевр психологического абьюза: «Забудь заботы и печали!» Кому ты это говоришь, Сашенька? Жнице, у которой семеро по лавкам голодные сидят, а муж в кабаке последние порты пропивает? Отличный совет, просто топ! «Забудь заботы, расслабься, подыши маткой, поймай дзен»! А дальше начинается форменная шизофрения: «Умчись без цели на коне в туман и в луговые дали».

Пушкина язвительно усмехнулась, качнув головой.

– На коне он умчится, понимаете? Коня ведь кормить надо, чистить, овес ему покупать, конюху Адриану жалованье платить. Но Сашенька об этом не думает. Конь для него – это не живое существо, которое тоже, между прочим, после целого дня пахоты устало, и не кусок бюджета. Конь для него – бесплатный спортивный снаряд для побега от реальности. Люди в поте лица херачили весь день, обеспечивая этому бездельнику рестораны с цыганами, а он вскакивает в седло и скачет «без цели». Знаете, как это называется на юридическом языке? Нецелевое использование чужого труда и злостное уклонение от социальной ответственности. Блок поэтизирует банальный побег инфантила, которому просто нужен красивый повод, чтобы не видеть, как у крестьян от нищеты зубы крошатся. Ему плевать на жницу, ему нужен красивый поп-арт кадр: он такой весь внезапный, на белом скакуне, скачет навстречу ночи и луне. Это гимн эгоиста, который красиво страдает на фоне чужого тотального изнеможения...

Пушкина стукнула кулачком по столу.

– Весь Серебряный век – это история о том, как кучка зажавшихся снобов каталась на конях по туманным далям, пока бабы в поле спины гнули, а потом искренне удивлялась: «Ой, а откуда в семнадцатом году взялись матросы с винтовками и почему они жгут наши усадьбы?».

Александра Сергеевна замолчала. В классе стояла такая тишина, что было слышно, как на улице жужжит навозная

муха. Снежана Светлоплетина сидела с приоткрытым ртом, за секунду растеряв весь свой пубертатный апломб.

Пушкина легко, одним движением, прыгнула со своего высокого стула на пол. На секунду ее крошечная фигура показалась хрупкой, как веточка вербы, но взгляд оставался твердым, как вольфрам.

– Завтра жду от каждого эссе на тему «Социально-экономический подтекст пейзажной лирики Блока». Попробуйте только списать из Сети про «розовую дремоту» – я вам такого коня устрою, что до туманных далей не доскачете. Свободны.

Она повернулась спиной к классу и начала аккуратно складывать свои тома в крошечный портфель.

Линдгрэн, Астрид

Осенние сумерки опускались на провинциальный Н-ск, укутывая типовые пятиэтажки саваном серого тумана, сквозь который тускло, словно заплаканные глаза грешников, светили редкие фонари. В своей крошечной квартире, среди возвышающихся до самого потолка стеллажей с пожелтевшими томами, восседала Александра Сергеевна Пушкина.

Народный учитель, чья фигура едва ли превышала размерами годовалого младенца, казалась монументальным извращением духа, запертым в капризном теле лилипута. Ее крошечные ножки, обутые в ортопедические туфли двадцать четвертого размера, едва свисали со стула, но взор, устремленный в окно, дышал той непостижимой, трагической глубиной, какая бывает лишь у людей, познавших тщету всего земного.

На маленьком журнальном столике стоял хрустальный бокал, в котором янтарными искрами переливался шведский пунш – тягучий, пряный, пахнущий корицей и гвоздикой, перекупленный по случаю втридорога у одного из завучей. Александра Сергеевна, бережно обхватив бокал двумя руками, сделала глоток.

Ее всегда восхищала Скандинавия – этот суровый край полуночного солнца, где за внешней холодностью скрыва-

ется подлинный, сакральный трепет перед хрупкостью человеческого бытия. Она закрыла глаза, уносясь мыслями к далеким фьордам и заснеженным крышам Стокгольма, совершенно позабыв, к какому анатомическому казусу обычно приводит ее, двадцатипятикилограммовую, сочетание крепкого алкоголя и бездонного филологического воображения.

Мир качнулся. Когда Александра Сергеевна открыла глаза, туман N-ска рассеялся. Окна ее хрущевки исчезли, уступив место высоким, залитым предзакатным солнцем рамам просторной мансарды в районе Вазастан. За окном расстился Стокгольм пятидесятих годов XX века, а в воздухе пахло свежей выпечкой и морской солью.

Напротив нее, за массивным письменным столом, сидела немолодая женщина в строгих очках, с аккуратной укладкой. Писательница быстро стенографировала что-то в блокноте.

– Боже мой, – прошептала Александра Сергеевна, мгновенно сориентировавшись в пространстве и времени, хоть и поморщившись от легкого головокружения. – Астрид... Фру Линдгрэн. Какое величие духа в этой простоте! Какая нежнейшая, хрустальная метафора детского одиночества, возведенная в абсолют христианского всепрощения. Ваш Малыш – это же символ тоскующей человеческой души, ищущей ангела-хранителя в жестоком, рафинированном буржуазном мире. А ваш Карлсон – этот легкий, воздушный дух свободы, парящий над мещанским бытом, приносящий утешение...

Фру Линдгрэн оторвала взгляд от блокнота, удивленно воззрившись на гостью, которая едва возвышалась над краем стола, но смотрела на нее с величественным пиететом.

– Вы так думаете? – мягко спросила шведка.

Александра Сергеевна вдруг резко замолчала. Внутри нее словно щелкнул тумблер. Сладкий пунш дошел до желудка, и благоговейный туман в голове моментально испарился, уступив место ледящему, беспощадному цинизму. Она шумно выдохнула, оправила складки своей детской юбки и устоялась на писательницу взглядом старого прокурора.

– Да ладно вам, Астрид, бросьте этот пафос, – заговорила Александра Сергеевна совершенно другим, сухим и ядовитым тоном. – Какой к черту ангел-хранитель? Давайте снимем белые перчатки и признаем очевидное: вы написали первый в истории мировой литературы учебник по клинической психологии и бытовому паразитизму, замаскированный под сказку. Вы же создали хрестоматийный образ социопата и абьюзера, а наши мамы до сих пор умиляются этой книжке!

Линдгрэн отодвинула блокнот, ее брови поползли вверх.

– Простите? – переспросила она.

– Я не прощаю, я анализирую, – отрезала Пушкина, легко, одним ментальным усилием компенсируя свои девяносто сантиметров роста так, что шведской писательнице показалось, будто комната уменьшилась. – Давайте препарируем вашего Карлсона. Кто он? Инфантильный, эгоцентрич-

ный мужчина неопределенного возраста с избыточным весом и пропеллером на неочевидном месте. Он живет на крыше – то есть социально не адаптирован, налогов не платит, определенного рода занятий не имеет. Типичный маргинал. И вот этот персонаж втирается в доверие к несовершеннолетнему ребенку из благополучной семьи. Зачем? Ради еды и эмоционального шантажа!

Александра Сергеевна загнула крошечный палец.

– Он уничтожает чужое имущество: взрывает паровую машину, портит обои, крадет тефтели. И какая у него позиция? «Пустяки, дело житейское!» Это же гениальная формула ухода от юридической и моральной ответственности! Он манипулирует Малышом с виртуозностью прожженного нарцисса. Помните этот пассаж: «Я так не играю, я самый больной в мире человек»? Стоит ребенку проявить хоть каплю самостоятельности или не дать ему выпечку, как Карлсон включает режим смертельно обиженной жертвы и симулирует коллапс. Он дрессирует пацана, как собаку, наказывая его игнором и поощряя за подчинение.

– Но Карлсон дарит ему радость, детство... – попыталась вставить слово Линдгрэн, слегка опешив под напором российского педагога.

– Он дарит ему стокгольмский синдром в миниатюре! – Пушкина ударила крошечным кулачком по столу. – Вы посмотрите, как выстроены их отношения. Карлсон постоянно обесценивает Малыша: «Ты – вещь, малявка, а я – мужчи-

на в расцвете сил». И Малыш, этот несчастный забитый ребенок, у которого родители целыми днями пропадают на работе (привет шведскому социализму с его разрушением института семьи!), готов отдать последнюю монету, лишь бы этот порхающий эгоист не улетел. Это же чистая психопатология! А «домомучительница» Фрекен Бок? Единственный вменяемый взрослый, который пытается ввести структуру и дисциплину в этот бедлам, выставить границы. И что делают эти двое? Они устраивают ей изощренную травлю, которую вы поэтично назвали «низведением и курощением». Это же пропаганда домашнего насилия над наемным персоналом!

Астрид Линдгрен растерянно моргнула, глядя на маленькую женщину, чья эрудиция и цинизм сейчас буквально раскатывали шведскую классику в тонкий блин.

– А Пеппи Длинныйчулок? – с прищуром продолжила Александра Сергеевна, войдя в раж. – Дочь капитана, который, судя по всему, промышлял банальным пиратством и контрабандой. Девочка с явным синдромом дефицита внимания и гиперактивности, оставленная без присмотра органов опеки. С чемоданом золотых монет – то есть с криминальным налом, который она хаотично вбрасывает в экономику городка, развращая местную детвору. Она спит ногами на подушке, игнорирует школу и общественные нормы. И вы подаете это как триумф свободы? Астрид, дорогая, это триумф анархизма и педагогической запущенности. Вы просто сублимировали свои личные травмы матери-одиночки,

создав мир, где взрослые либо идиоты, либо тираны, а дети предоставлены сами себе и сходят с ума каждый по-своему!

Фру Линдгрэн молчала, задумчиво глядя на свою стенограмму. В ее глазах появилось странное уважение – так смотрят на патологоанатома, который безупречно точно нашел причину летального исхода.

– Знаете, – тихо произнесла шведка, – возможно, в ваших словах есть доля... пугающей правды. Но людям нужны иллюзии.

– Людям нужны розги и хороший психотерапевт, – отрезала Пушкина. – А не сказки про жирных мужиков с мотором, которые жрут варенье в три горла за чужой счет.

Александра Сергеевна потянулась к столу, чтобы сделать еще один глоток пунша, но пальцы наткнулись на пустоту. Пространство Вазастана начало блекнуть, шведские обои растворялись, превращаясь в знакомые обои в цветочек.

...Александра Сергеевна очнулась на своем стуле в N-ске. Хрустальный бокал был пуст. За окном все так же уныло выла сирена скорой помощи, а на часах было начало четвертого утра.

Она тяжело вздохнула, посмотрела на свои маленькие руки и поморщилась. Завтра – вернее, уже сегодня – ей предстояло идти в 9 «Г» и рассказывать этим дуболомам про «гуманизм и светлую веру в ребенка» в творчестве зарубежных писателей. Она достала пожелтевший поурочный план, отщелкнула колпачок любимой перьевой ручки, обмакнула ее

в чернила и аккуратным, каллиграфическим почерком вывела: «Тема урока: Анатомия эгоизма. Как распознать токсичного манипулятора на примере шведской прозы».

Пусть привыкают к реальной жизни. Александра Сергеевна дураков плодить не нанималась.

«Лисица и Виноград», Крылов И. А.

Июньское солнце плавило провинциальный асфальт с какой-то ветхозаветной жестокостью, превращая воздух над путями товарной станции в дрожащее хрустальное марево. Сюда, к глухому тупику у старого пакгауза, увенчанного ржавой вывеской «Заготзерно», малое человеческое существо привело нежелание созерцать триумф обывательской плоти. Деревянный перрон, пахнувший мазутом и прелью, казался бесконечным молом, уходящим в океан сорных трав.

На самом краю этого помоста, свесив крошечные ножки в ортопедических ботиночках двадцать четвертого размера, сидела Александра Сергеевна Пушкина. Девяносто сантиметров концентрированного филологического духа, укутанные в безупречно отутюженный, хоть и выцветший шелковый палантин, казались оброненной кем-то фарфоровой куклой. Но в руке кукла держала массивный, пожелтевший том Крылова издания 1952 года, который на ее коленях выглядел размером с псалтырь.

Рядом, тяжело отдуваясь, сидел на корточках тридцатилетний племянник Игорь Пистоборов – крупный, простоватый экспедитор, привезший тетку сюда на своей «Газели» исключительно ради того, чтобы она «подышала индустри-

альным простором».

– Ты посмотри, Игорек, какая божественная геометрия пространства, – пропела Александра Сергеевна, и ее густой, бархатный алыт, совершенно не вязавшийся с двадцатипятикилограммовым тельцем, поплыл над шпалами. – Какая акварельная тоска в этих ржавых цистернах! А басни Ивана Андреевича... О, это же не просто дидактика для гимназистов. Это чистейший, рафинированный Парнас, облаченный в лапотную простоту. Какая нежность слога! «В нем винограду кисти рделись...» Ты слышишь этот внутренний свет? Музыка! Великий старик созерцал саму суть человеческого стремления к прекрасному, к недостижаемому идеалу, к горним высям духа, которые манят нас, земных и сирых...

В этот момент с путей донесся оглушительный, утробный хрип: бездомный, облезлый пес, тщетно пытавшийся дотянуться до обрезка колбасы, застрявшего в щели между рельсами, хрипло кашлянул, плюнул на шпалы и, хромая, побрел в лопухи.

Александра Сергеевна замолчала. Глаза ее, огромные и холодные, как антрацит, сузились. Шелковый палантин соскользнул с крошечного плеча. Она резко захлопнула фоллиант – звук получился сухим, как выстрел.

– Тьфу, ёпть, – отчетливо и брезгливо произнесла Народный учитель РФ. – Какая же убогая, предсказуемая скотина. И пес этот, и крыловская героиня.

Игорь Пистоборов вздрогнул и едва не свалился с перро-

на.

– Александра Сергеевна... вы чего? – пробормотал он.

– Того, Игорек. Посмотри на этот цирк, который нам двести лет впаривают в третьем классе под видом «морали о глупости». Нам же как объясняют? Лиса дура, дотянуться не могла, вот и назвала виноград зеленым. Защитный механизм психики, классический девиантный рефрейминг. Но если ты разуешь свои невымытые зенки и вчитаешься в текст, ты увидишь там не басню, а страшный, клинический разбор эталонного ничтожества.

Она легко, одним движением, перекинула свое невесомое тело и села по-турецки, оказавшись лицом к племяннику. На фоне огромного неба ее маленькая голова с идеальным пучком седых волос казалась до безумия властной.

– Давай препарируем эту рыжую мразь, – вкрадчиво продолжила она, постукивая крошечным пальцем по обложке. – Крылов пишет: «Голодная кума Лиса залезла в сад». Залезла, Игорек! То есть совершила незаконное проникновение на чужую частную территорию. Она уже воровка и нарушительница конвенций. И ради чего? Ради высокого искусства? Хрен там. Ради жратвы. И вот перед ней «кисти сочные, какяхонты, горят». Иван Андреевич не зря использует ювелирную метафору. Виноград здесь – это олицетворение чужого, сука, благополучия. Роскоши, до которой эта помойная девка из леса никогда не дослужится. И что делает наша эффективная менеджерка? «У кумушки глаза и зубы разгорелись».

Это же чистая, нефilterованная жаба! Люмпенский экстаз при виде ништяков, которые ей не принадлежат.

Александра Сергеевна презрительно усмехнулась, и в ее лице мелькнуло что-то древнее, чингисхановское.

– Дальше – апофеоз никчемности. «Пробившись попусту час целый...» Час! Ты представляешь, какое это тупое, неэффективное существо? Вместо того чтобы сообразить элементарный инструмент – подтащить ящик, сбить палкой, позвать, в конце концов, медведя за долю в бизнесе – она час прыгает на одном месте, как дегенеративный тушканчик. Мой рост – девяносто сантиметров, Игорек. Если мне нужна книга с верхней полки министерской библиотеки, я не скачу перед ней, пуская слюни, я беру стремянку или заставляю двухметрового проверяющего дотягиваться до этой книги. У этой твари были все ресурсы леса, но мозгов – как у хлебushка.

Она перевела дыхание, и в ее голосе зазвенел чистый, хирургический цинизм.

– И вот тут наступает финал. Самая гнилая часть человеческой – и лисьей – натуры. Столкнувшись с собственной импотенцией, это ничтожество не говорит: «Я дура, я некреативна». Нет! Она включает режим токсичного эксперта. «Ну, что ж! На взгляд-то он хорош, да зелен – ягодки нет зрелой». Это же манифест любого неудачника, Пистоборов! Это комментаторы в Интернете, это критики, не написавшие ни строчки, это диванные философы, которые авто-

ритетно клеймят чужие успехи, не скопив даже на ремонт собственного крыльца. Рыжая обесценивает результат чужого труда, чтобы спасти свое ущемленное эго. «Тотчас оскомину набьешь» – это не вывод, это аутотренинг нищebroда. Она уходит с гордо поднятым хвостом, унося в своей мелкой черепушке абсолютную уверенность в том, что виноград – говно, а она – непризнанный гений гастрономии. Крылов написал эпитафию человеческой гордыне, замаскировав ее под детскую сказочку для дебилов.

Александра Сергеевна замолчала, аккуратно расправила подол юбки и посмотрела на свои детские туфельки. Великий филологический ум, запертый в теле куклы, торжествовал над пространством.

– Ну что, Игорек, – подытожила она, снова возвращаясь к тону скучающей светской дамы. – Солнце садится. Воздух здесь стал слишком густым от испарений мазута. Понесли мою тушку в машину. И, ради Христа, купи по дороге нормального сухого вина. Надеюсь, в этом райцентре его не считают «зеленым» только потому, что не могут отличить штопор от отвертки.

«Лолита», В. Набоков

Майское солнце в провинциальном N не грело, а скорее разоблачало. Оно безжалостно высвечивало облупившуюся масляную краску на перилах старого дебаркадера, пришвартованного к обмелевшей реке, и обнажало стыдливую наготу ржавых барж вдалеке.

Александра Сергеевна Пушкина восседала на перевернутом деревянном ящике из-под сельди. Ее крошечные ножки в безукоризненных замшевых туфельках детского размера не доставали до дощатого настила, отчего она казалась оброненным кем-то изящным фарфоровым пупсом. Однако в ее осанке, в сухом развороте крошечных плеч и в том, как тонкие пальцы держали папиросу «Герцеговина Флор», сквозило величие, способное заставить умолкнуть любой цыганский табор.

Рядом, на корточках, тяжело дышал директор местной автобазы, Аркадий Павлович Переипатько – мужчина объемистый, пахнувший соляжкой и дешевым одеколоном. Он привел учительницу сюда, на безлюдную пристань, чтобы тайно проконсультироваться по поводу сочинения своего сына-лоботряса.

Александра Сергеевна затянулась, выпустила идеальное колечко дыма в сторону противоположного берега, где уныло высились трубы силикатного завода, и заговорила. Город-

ской шум стих, уступая место ее бархатному, грудному контральто, которое никак не вязалось с ее девяностосантиметровым ростом.

– Послушайте, Аркадий, этот текст – чистейший хрусталь, – произнесла она, и в ее глазах, обычно холодных, как лед, блеснула искренняя, почти религиозная слеза филологического экстаза. – Набоков сотворил не роман, он соткал серафический гобелен из аллитераций и метафор. Это литургия тоски по утраченному раю, где каждое слово – как капля росы на лепестке орхидеи. Помните это бессмертное: «Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по нёбу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. ». О, какой фонетический эротизм, какая божественная игра аллюзий с Эдгаром По и Данте! Гумберт – это не человек, это трагический Пьеро, запертый в склепе собственного эстетического совершенства, ищущий идеальную нимфу в мире, оскверненном пошлостью американского пригорода. Это плач по недостижимой красоте, Аркадий Павлович...

В этот момент с настила дебаркадера сорвалась жирная зеленая муха и с мерзким жужжанием увязла в недопитом стакане дюшеса, который стоял у ног директора автобазы. На поверхности газировки образовалась грязная пена.

Александра Сергеевна скосила взгляд на муху. Изгиб ее напудренных губ мгновенно изменился. Литературная магия испарилась, уступив место леденящему реализму патологоанатома. Она сплюнула крупницу табака прямо на доски.

– Короче, Переипатько, твой оболтус решил выпендриться на итоговом сочинении и выбрал «Лолиту» для свободной темы «Книги вне школьной программы», заявив, что это «роман про педофила». Так вот, передай этому дегенерату, что он мыслит как дознаватель из шестого отделения милиции. Гумберт Гумберт – никакой не романтический страдалец, но и не просто маньяк. Он – эталонный, кристально чистый мудака и лузер, который всю дорогу разводит читателя на жалость, пользуясь тем, что у него богатый словарный запас.

Директор автобазы сглотнул и поплотнее прижал локти к бокам. Когда Александра Сергеевна включала этот тон, ее ничтожный физический вес в двадцать пять килограммов словно обретал плотность урана. Она казалась огромной чугунной бабой, готовой разнести несущие стены любого сознания.

– Давайте снимем с этого текста кружева и посмотрим на голые факты, которые Набоков нам заботливо оставил, пока мы пускали слюни на его метафоры, – продолжила Пушкина, жестко стряхивая пепел на свои крошечные колени. – Гумберт – это сорокалетний импотентный нарцисс, у которого не хватило яиц, чтобы построить здоровые отношения со взрослыми женщинами. Проблема Гумберта не в том, что он «любит нимфеток», а в том, что он панически боится равных. Взрослая баба ведь может сказать: «Гумми, дорогой, ты плох в постели, и шутки у тебя дурацкие». А двенадцатилет-

ний ребенок из неполной семьи, забитый провинциальной матерью-мещанкой – это идеальный пластилин. Она не раскусит его убожество, потому что еще ничего в жизни не видела.

Она сделала паузу, ее маленькие, похожие на кукольные пальцы жестко зафиксировали папиросу.

– Обрати внимание на его тактику. Этот «эстет» ведет себя как банальный домашний тиран и мелкий шантажист. Он женится на Шарлотте Газе – бабе, которую он презирает всем сердцем, только ради доступа к телу ее дочери. Это ли не высшая степень бытовой проституции? А когда Шарлотта удачно попадает под автомобиль – заметь, как Гумберт внутренне ликует, хотя строит из себя Понтия Пилата – он берет девчонку в оборот. И как он ее удерживает? Ах, великая любовь! Да черта с два. Он удерживает ее финансовым абюзом и угрозами сдать в приют. Он покупает ее лояльность копеечными шмотками, конфетами и билетами в киношку, попутно насилуя ее в вонючих мотелях. Классическая схема цыганского попрошайничества.

Переипатько робко поднял руку:

– Александра Сергеевна, но ведь Лолита сама... ну, в отеле «Зачарованные охотники»... сама к нему...

Пушкина посмотрела на него как на дефектную деталь коробки передач. Директор тут же опустил руку.

– Лолита, Аркадий, – обычный, посредственный, глубоко несчастный подросток. Да, она испорчена лагерем, да, она

заигрывает. Но Набоков гениально показывает изнанку: пока этот старый хрен исходит экстазом в своих дневниках, описывая «божественную нимфу», сама нимфа по ночам тихо рыдает в подушку, пока он спит. Она играет в его игру просто потому, что у нее нет альтернативы. У нее отняли мать, отняли дом, отняли сверстников. Она находится в заложниках у сумасшедшего филолога. Весь этот их грандиозный американский вояж – это не «путешествие влюбленных», это бегство преступника, который таскает за собой живой щит.

Александра Сергеевна легко, одним движением спрыгнула с ящика. На мгновение показалось, что приземлился ребенок, но тяжелый, пронзительный взгляд из-под нависших бровей заставил директора автобазы инстинктивно втянуть голову в плечи. Она подошла к краю дебаркадера, почти упираясь животом в поручень, и посмотрела на грязную воду.

– И каков финал этого «триумфа красоты»? – ее голос звучал тише, но весомее. – Гумберт находит ее через несколько лет. Изможденную, беременную от какого-то глуховатого работяги, живущую в нищете. И тут происходит его главный облом. Оказывается, Лолита повзрослела. Из нее ушла та детская беззащитность, которая позволяла ему доминировать. И она прямым текстом говорит ему: «Ты разрушил мою жизнь». Ей не нужны его миллионы, ей не нужны его цитаты из Петрарки. Ей просто тошно от одного его вида. И вся эта его книжка, Переипатько, все эти мемуары, которые он строчит в тюремной больнице – это грандиозная

попытка оправдаться перед судом истории. Он знает, что он мразь. И он надеется, что если опишет свое преступление достаточно красивыми словами, то общество его простит.

Она повернулась к директору, аккуратно затушила папиросу о ржавый кнехт и спрятала окурочек в крошечный носовой платок.

– Так вот. Набоков – гений, потому что он заставил нас сочувствовать чудовищу. Но твой сын должен понять: красота слога не отменяет того факта, что перед нами история духовного и физического растреления. Пусть переписшет вторую часть сочинения. Без соплей про «вечную любовь». Пусть напишет про эгоизм, доведенный до абсолюта. И упаси его бог снова использовать словосочетание «неоднозначный персонаж». Все там однозначно. Вопросы есть?

– Н-нет, Александра Сергеевна, – пролепетал гигант-директор, чувствуя себя первоклассником перед лицом этой девяностосантиметровой стихии.

– Вот и чудно, – Пушкина царственным жестом поправила воротник своего строгого платья. – Пойдем отсюда, Аркадий. Здесь смердит разлагающейся рыбой и мещанским малодушием.

Лондон, Джек

Огни провинциальной средней школы № 36 погасли два часа назад, оставив Александру Сергеевну Пушкину наедине с пачкой тетрадей девятого «Г» и вечной, как сама русская словесность, экзистенциальной тоской.

Народный учитель РФ, женщина предпенсионного возраста и ростом ровно девяносто сантиметров, сидела на трех томах «Толкового словаря» Даля, чтобы подбородок не лежал на столе. Физический масштаб Александры Сергеевны позволял ей без труда прятаться за классным журналом, но масштаб ее филологического ума простирался далеко за пределы этой панельной геометрии.

Закончив с поколением «Г», Александра Сергеевна вздохнула. Металлоконструкция ее великого духа требовала дезинфекции. Забыв, как и всякий раз до этого, о досадном побочном эффекте своего метаболизма, она извлекла из глубин стола шкалик тяжелого, маслянистого калифорнийского виски, купленного по акции в «Красном и Белом». Двадцать пять килограммов живого веса приняли чистый спирт как вызов. В глазах помутилось.

...Туман, густой и пахучий, словно дыхание самого мироздания, пополз по дощатому настилу портового кабака в Сан-Франциско. Ветер с залива пел величавую, суровую песнь о вечном противостоянии человека и стихии, о тех

бесстрашных сынах земли, чьи сердца закалялись в ледяных объятиях Клондайка. О, Джек Лондон! Великий певец первобытной искренности, трубадур Белого Клыка и северного сияния!

С каким благоговением Александра Сергеевна всегда касалась этих страниц, где подлинное величие духа преодолевало немощь плоти, где любовь к жизни торжествовала над леденящим безумием цивилизации.

Здесь, среди матросов и золотоискателей, сидел он сам – широкоплечий титан со взором, устремленным в бездну, запечатлевший в своей прозе суровую правду дикой природы. Александра Сергеевна, стоявшая на табурете у стойки, замерла в немом восхищении перед этим исполином американского реализма, чья душа трепетала от каждого удара волны...

– Слышь, великий романтик, – Александра Сергеевна резко опустила пустой стакан на залитый виски и калифорнийским пивом дубовый стол, отчего матросы вздрогнули. – Ты зубы-то мне не заговаривай своим Белым Клыком. Налей еще полдюйма этой сивухи и сядь нормально, а то у меня от взгляда снизу вверх шею сводит. Да-да, я лилипутка, не пялся, зато у меня, в отличие от тебя, мозг не разжижен социалистическими лозунгами, купленными на гонорары от буржуазных журналов.

Джон Гриффит Лондон, только что собиравшийся толкнуть речь о силе человеческого духа, поперхнулся табачным

дымом. Маленькая женщина в строгом учительском костюме, едва достававшая ему до пояса, когда стояла, излучала такую ледяную, инквизиторскую уверенность, что триста фунтов матросского мяса вокруг притихли.

– Вы... кто? – прохрипел писатель.

– Я твоя предсмертная рефлексия, Джек, – отрезала Пушкина, поправляя очки в роговой оправе. – Давай снимем эти сусальные маски «певца сильных духом». Давай честно препарируем твою так называемую литературу и твою биографию, которую ты так тщательно лакировал для наивных гимназистов. Весь твой хваленый «культ силы» и сверхчеловека – это же чистейшей воды подростковая сублимация нищего мальчишки, которого недолюбили в детстве. Ты же панически, до кошачьего визга боялся слабости, старости и бедности!

– Мои герои умирают с улыбкой на устах, борясь со стихией! – гордо вскинулся Лондон.

– Твои герои умирают, потому что они клинические идиоты, – Александра Сергеевна тонким пальцем с безупречным маникюром постучала по столу. – Возьмем твой хрестоматийный рассказ «Костер». Человек замерзает на Юконе. Боже, какая трагедия! Какая философия Белого Безмолвия! А если включить мещанский здравый смысл? Персонаж идет в одиночку в минус семьдесят пять по Фаренгейту, зная, что наледи маскируются снегом. Ему старик на ручье Коровьем прямым текстом сказал: «Не ходи один, дубина». Что дела-

ет твой «сверхчеловек»? Идет. Мочит ноги. Не может развести костер, потому что строит его под елью, с которой падает снег и тушит пламя. Это не величие духа, Джек. Это естественный отбор в действии. Твой герой умер не от величия природы, а от деменции на почве гордыни. И вся твоя северная проза – это гимн слабоумию и отваге.

Джек Лондон побледнел, его рука потянулась к бутылке.

– Но «Мартин Иден»! – воскликнул он. – Это же критика индивидуализма! Это трагедия художника, преданного буржуазным обществом!

Пушкина издала короткий, лающий смешок, от которого у сидевшего рядом боцмана пробежали мурашки.

– «Мартин Иден» – это твоя личная истерика на бумаге, дутыш ты эгоцентричный. Ты написал роман о том, как парень из низов научился правильно расставлять запятые, прочитал Спенсера, заставил всю страну покупать свои рукописи, а потом обиделся, что его любят за его успех, а не за его «прекрасную душу». Какая глубина! Какая драма! Мартин Иден бросается в иллюминатор не потому, что общество плохое. А потому, что он – классический нарцисс в терминальной стадии. Он хотел доказать Руфи и ее папаше-банкиру, что он круче их. Доказал. Игрушка надоела, внутри пустота, ведь никакой высшей цели, кроме собственного раздутого «Я», у него не было. Ты ведь и сам такой, Джек. Ты построил себе замок «Волчий дом» за сто тысяч долларов, крича на митингах о правах пролетариата. Ты нанимал японских

слуг, будучи расистом до мозга костей – вспомни свои мерзкие статейки про «желтую опасность». Ты презирал буржуазию, но чах над каждой маркой гонора.

– Я вырвался из нищеты! Я работал по девятнадцать часов в сутки! – прорычал писатель, нависая над крошечной учительницей.

Александра Сергеевна даже не моргнула. Ее девяносто сантиметров роста сейчас казались вершиной Эвереста, с которой она снисходительно смотрела на копошащегося в грязи муравья.

– Да, работал. Чтобы покупать яхты и пить дорогой виски, – тихо, но отчетливо произнесла она. – Твой цинизм по отношению к человеческой природе был поверхностным – это был цинизм обиженного лавочника. Ты думал, что если покроешь жизнь лаком нищестанства, то никто не заметит твоего страха. Твой «Морской волк» Ларсен – это же просто карикатурный садист с томиком Омара Хайяма, который оправдывает свое желание бить морды матросам «законами эволюции». Ты выдумал этот мир сильных зверей и сильных людей только потому, что в реальном мире ты, со всей своей славой и деньгами, оставался уязвимым, больным алкоголиком с отказывающимися почками. Вы, американцы, вечно путаете масштаб личности с объемом продаж. Великая литература рождается из сострадания к слабости, а не из поклонения мускулам.

Джек Лондон уронил голову на руки. Обличающие факты

его собственной жизни, безжалостно вскрытые этой странной маленькой женщиной, лишили его дара речи. Она знала все: и про крах его фермерских утопий, и про долги, и про фальшь его социализма.

– Ладно, сиди уж, сверхчеловек, – вздохнула Александра Сергеевна, мягко коснувшись его плеча своей крошечной ладонью. – Писал ты динамично, этого не отнимешь. Мои оболтусы твои рассказы хотя бы до конца дочитывают, в отличие от Толстого. На том и спасибо.

Она допила остатки виски из стакана писателя. Пространство портового кабака задрожало, соленый ветер Сан-Франциско сменился знакомым запахом хлорки и старой бумаги.

Александра Сергеевна моргнула. Перед ней снова лежала стопка тетрадей девятого «Г». На часах было пол-одиннадцатого вечера. За окном Н-ск утопал в провинциальной грязи и темноте.

Она аккуратно взяла красную ручку, открыла тетрадь Стаса Какашевича и размашистым, безупречным почерком написала: «Твой тезис о том, что Джек Лондон воспевал гуманизм, ошибочен. Автор воспевал коммерчески успешный суицидальный эгоцентризм. Переписать».

Народный учитель РФ закрыла журнал, прыгнула со словарей на пол и, гордо подняв голову, пошла к выходу, зная, что завтра она снова будет сеять разумное, доброе, вечное. В своей личной, глубоко циничной манере.

«Лошадиная фамилия», А. Чехов

Знойный майский полдень висел над провинциальным городом N, словно тяжелое, пропотевшее суконное одеяло. Пыль, поднятая порывами ветра, лениво оседала на сонные лопухи у глухого школьного забора. В кабинете русского языка и литературы царил тот благословенный предканикулярный покой, когда души человеческие, утомленные годовым бдением, замирают в предчувствии неизреченного света.

За учительским столом, едва возвышаясь над кипой потрепанных тетрадей, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Природа, обделившая ее земным ростом и остановившая фиксатор ее костей на отметке в девяносто сантиметров, с избытком компенсировала этот изъян величию духа.

Ее огромная, скульптурная голова с точеным профилем и тяжелым узлом седых волос казалась обломком античной статуи, случайно водруженным на детское туловище. Но когда она начинала говорить, класс задерживал дыхание. Ее голос, бархатный, глубокий альт, уносил слушателей в эмпиреи чистой мысли.

– Посмотрите на этот шедевр, друзья мои, – Александра Сергеевна бережно, кончиками пальцев коснулась томика Чехова, словно это была святая плащаница. – Какая акварельная нежность, какая филигранная точность в изображе-

нии русского быта! Антон Павлович, этот нежнейший диагност человеческой грусти, возносит банальную зубную боль до уровня экзистенциальной драмы. Генерал-майор Булдеев – это ведь не просто отставной военный. Это олицетворение растерянности мыслящего тростника перед лицом стихийного, слепого страдания. А этот поиск утраченного слова? Поиск фамилии, способной исцелить? Это же чистой воды миф об Орфее, ищущем Эвридику в подземном царстве забытья! Какая трогательная, щемящая поэзия народной медицины, этот трепет перед знахарством, эта детская, святая вера в чудодейственное слово...

В этот момент на последней парте шестого «Г» класса раздался отчетливый, сочный хруст. Двоечник и потомственный дегенерат Филипп Новозов, пользуясь тем, что учительницу из-за стола почти не видно, с аппетитом вгрызся в огромное, красное, глянцевое яблоко, украденное им в ближайшем супермаркете.

Александра Сергеевна замолчала. Граненый хрусталь ее взгляда медленно повернулся в сторону Фили Новозова. В ее огромных глазах, повидавших несколько поколений таких же кретинов, не было злости. Там была арктическая бездна. Она легко прыгнула со своего специального высокого стульчика, обутая в ортопедические туфельки двадцать четвертого размера, и мерным, тяжелым шагом – так марширует по сцене маленький, но фатальный рок – подошла к парте.

– Выплюнь эту падаль, Новозов, – негромко, но до жу-

ти отчетливо произнесла Александра Сергеевна. Стиль ее мгновенно утратил дворянскую негу. – И вынь пальцы из носа. Слушайте меня сюда, жертвы неконтролируемой рождаемости. Сейчас я переведу вам этот рассказ с языка школьной хрестоматии на язык суровой психиатрической реальности.

Она оперлась крошечными ручками о край парты, снизу вверх глядя на замершего Филю, но ментально в этот момент она возвышалась над ним как сталинская высотка.

– Вы думаете, Чехов написал веселую юмореску про то, как дурачки фамилию вспоминали? Ни хрена подобного. «Лошадиная фамилия» – это безжалостный анатомический театр, препарирующий абсолютное, эталонное скотство обывателя и торжество шкурного интереса над остатками разума.

Александра Сергеевна замолчала, аккуратно поправила тяжелый узел седых волос на затылке и впиалась взглядом в отличницу с первой парты.

– Давайте разберем персонажей. Кто такой генерал-майор Булдеев? Носитель высшего воинского звания, опора империи. И этот стратегический ум исходит соплями и прикладывает к щеке табак с керосином, потому что до усрачки боится стоматологических щипцов. Перед нами классический домашний тиран-инфантил. Он изводит всю усадьбу, кричит, топает ногами, доводит жену до истерики, но стоит приехать настоящему доктору – он пасует. Это гимн соматической трусости.

Она сделала паузу, достала из кармана строгой блузы крошечный кружевной платок и изящно промокнула уголки губ.

– А теперь посмотрите на его окружение. Приживал и паразит Иван Евсеич, приказчик. Зачем он предлагает знахаря из Саратова, который «заговаривает по телеграфу»? Вы думаете, от доброты душевной? От христианского сострадания? Щас, разбежались. Иван Евсеич пытается выслужиться перед барином, поймать хайп, укрепить свои позиции у кормушки. Это же чистая ярмарка карьеризма! Он продает генералу воздух, чудо, эзотерическое фуфло, зная, что в случае успеха получит премию, а в случае неудачи – спишет все на «силу заговора».

Александра Сергеевна прошла по проходу. Ростом она едва доставала до локтей сидящих шестиклассников, но класс сидел, вжав головы в плечи.

– И вот начинается этот массовый психоз, – продолжала она, цинично ухмыляясь. – Вся усадьба – баба, дети, прислуга, даже кучер кувыркаются в лингвистическом безумии. Кобылкин, Жеребчиков, Лошадицкий... Это не поиск слова, Филипп. Это клиническая картина коллективного помешательства на почве рабского угодничества. Каждый хочет стать тем самым благодетелем, который угадает фамилию и утихомирит взбесившегося генерала. Они перебирают породы лошадей, масти, возраста, превращая человеческое жилище в ментальную конюшню. Чехов прямым текстом говорит: люди ради сиюминутного комфорта готовы доброволь-

но деградировать до уровня непарнокопытных. Они мыслят овсом и уздечками!

Она остановилась посреди класса и скрестила руки на груди.

– И каков же финал этой великой трагедии? Приезжает доктор. Обычный прагматичный врач, представитель доказательной медицины, которой вы, стадо гуманитарных банкротов, пренебрегаете. Он за две минуты вырывает этот несчастный гнилой зуб. Конфликт исчерпан, боль ушла. И тут этот debil Иван Евсеич натывается на акцизного, который покупает у него овес. Слово за слово – и приказчика осеняет! «Овсов». Что делает наш герой? Он бежит к генералу. Радостный, как эрдельтерьер, нашедший тухлую кость. И что он получает? Генерал дает ему две фиги под нос.

Она горько усмехнулась, и этот жест на ее скульптурном лице выглядел по-королевски величественно и жутко. Филька Новозов так и застыл с открытым ртом, боясь сделать глотательное движение; кусок яблока застрял где-то в районе его горла.

– Знаете, почему? – продолжила Александра Сергеевна. – Потому что услуга, которая уже оказана, ничего не стоит. Это главный закон человеческого эгоизма, задокументированный Чеховым. Пока у генерала болело – он готов был молиться на Овсова, слать телеграммы, платить любые деньги. Зуб вырвали – и фамилия Овсов вместе со всем этим овсом идет лесом. Генералу больше не нужно чудо, ему плевать

на чужую память и чужие старания. Великая душа «homo sapiens» в разрезе: дай мне таблетку прямо сейчас, а когда отпустит – пошел вон, я тебя не знаю. Рассказ надо было называть не «Лошадиная фамилия», а «Говняцкая натура».

Александра Сергеевна замолчала. В классе стояла мертвая, звенящая тишина. Даже муха, бившаяся о стекло, казалось, затихла, осознав масштаб человеческого падения. Учительница плавно повернулась, подошла к своему трону и с удивительной для ее коротких рук ловкостью взобралась на стул.

– Домашнее задание, – сухо и буднично произнесла она, снова превращаясь в безупречно интеллигентную даму. – Написать эссе на тему «Психопатология булдеевщины в условиях пореформенной России». Новозов – два за яблоко и три за интеллектуальную слепоту. Все свободны.

«Любовь к жизни», Дж. Лондон

Майское солнце висело над сонной провинцией, как жирный янтарный кусок балыка. Воздух, густой от тополиного пуха и испарений недалекого болота, неподвижно замер в кабинете русского языка и литературы. Время здесь будто замедлило свой ход, подчиняясь величию момента.

На третьей парте у окна, погруженный в экзистенциальную кому, тихо пускал слюну на раскрытую тетрадь Мишка Изпражнин – признанный лидер местной подростковой группировки. На задних рядах шелестели обертками от дешевых чипсов, но этот звук тонул в торжественной, почти храмовой тишине.

За учительским столом, на специально сконструированном высоком дубовом стуле с тремя подножками, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Ее крошечные ножки в лаковых туфельках двадцать четвертого размера, не доставая до пола, чинно покоились на бархатной скамеечке.

Народный учитель Российской Федерации, чей рост замер на отметке в девяносто сантиметров, казалась фарфоровой статуэткой, случайно оброненной великаном среди убогой школьной мебели. Но стоило ей поднять взгляд огромных, умных, навывкате глаз, как класс испуганно подтягивал животы. Ее филологический гений и ледяное презрение к человечеству физически заполняли класс, заставляя парты ка-

заться меньше, а потолки – выше.

– Господа пятиклассники, – голос Александры Сергеевны лился, как старый выдержанный херес, – сегодня мы прикоснулись к вершине человеческого духа. Джек Лондон. «Любовь к жизни». Какая полифония мужества! Какая величественная ода негибимой воле, явленная нам среди безмолвных, леденящих просторов канадского Севера. Помните ли вы тот момент абсолютного катарсиса? Когда герой, брошенный товарищем, искалеченный, голодный, ползет сквозь ледяную пустыню? Это не просто борьба за биологическое существование. Это триумф человеческого разума над слепой, яростной стихией. Он преодолевает не физическую боль, нет. Он преодолевает метафизическое одиночество. Его дух кричит звездам о своем праве быть! Какая чистая, звенящая, как северное сияние, красота...

В этот момент Изпражнин на третьей парте издал утробный звук, дернулся и с грохотом уронил на пол пластиковую бутылку из-под кваса. Бутылка покатилась, мерзко шурша по линолеуму.

Лицо Александры Сергеевны мгновенно окаменело. Наслаждение искусством испарилось, уступив место привычной, хирургической трезвости патологоанатома. Она посмотрела на Мihu Изпражнина сверху вниз – ментально, разумеется, – и оперлась крошечными кулачками о край стола.

– Изпражнин, подбери сосуд со своим коровьим пойлом, пока я не заставила тебя сожрать его без соли, – тихо, но от-

четливо произнесла она. Стил ь ее речи изменился так резко, словно парадный оркестр вдруг заиграл блатняк. – И так, детишки, снимем розовые сопли, которыми нас так щедро обмазал товарищ Лондон, и включим остатки вашего межушного ганглия. «Любовь к жизни». Великий гимн человеку? Чушь собачья. Это детальное клиническое описание того, как обыватель средней руки в условиях крайнего шухера превращается в свинью, движимую исключительно тупым, шкурным эгоизмом.

Она ловко спрыгнула со своего царского трона. Ее крошечная фигурка замелькала между партами. Передвигалась она быстро, чеканя шаг, отчего казалась ожившим духом изошренной мести.

– Давайте препарируем этого безымянного кадра, – Александра Сергеевна остановилась у парты отличницы Люды Бургерман. – О чем нам поет автор в самом начале? Два золотоискателя тащат мешки с добычей. Спины согнуты, в коленях дрожь. Билл и наш герой. Как только герой подворачивает ногу – Билл делает ручкой и уходит в туман. В учебниках вам напишут: «Ах, предательство, ах, низость!» А если подумать головой, которой вы только едите? Билл – единственный адекватный прагматик в этой повести. У них кончилась жратва, впереди сотни миль тундры. Тащить на себе хромого нытика с мешком золота – это гарантированное самоубийство для обоих. Билл просто посчитал дебет с кредитом. Да, цинично. Но это математика выживания.

Она прошлась до доски, обернулась и скрестила руки на груди.

– Но самое веселое начинается потом, когда наш «титан духа» остается один. Обратите внимание на его истинную мотивацию. Что он тащит с собой, замерзая и теряя сознание? Он тащит тяжеленный мешок с золотом! Выкинул бесполезное ружье, но до последнего цеплялся за презренный металл, пока организм окончательно не отказал. Человек находится на пороге небытия, его жрут вши и комары, а он думает о том, как вернется в Сан-Франциско и купит себе тридцать пар шелковых калсон. Это не любовь к абстрактной жизни, Бургерман. Это любовь к будущему сытому мешанскому комфорту. Обыкновенная жадность, возведенная в абсолют. Именно жадность тащила его вперед, а вовсе не какой-то там «триумф человеческого рации».

Класс замер, боясь пошевелиться. Александра Сергеевна подошла к Мишке Изпражнину и постучала коротким указательным пальцем по его парте.

– А теперь перейдем к апофеозу этого зоопарка. Финальная битва. Наш герой и больной волк. Нам рисуют эпическую картину: противостояние двух высших хищников. Ребята, откройте текст. Это не битва титанов. Это вокзальная драка двух полудохлых бомжей за тухлую сосиску. Волк старый, больной, у него деменция и несварение. Наш герой – облезлый, грязный, ползущий на четвереньках огрызок цивилизации. И как же венец творения побеждает хищника?

Он его сожрал? Нет. Он его перекусал. Он дождался, пока полумертвое животное прижмется к нему носом, и вцепился зубами в волчью шею, захлебываясь чужой кровью, просто потому, что у него сработал рефлекс бешеной собаки. Вся человеческая культура, Шекспир, Вольтер, законы Ньютона – все слетело за три недели диеты. Остались только зубы и желание набить брюхо чужой плотью.

Она вернулась к столу, с удивительной для ее роста ловкостью взобралась на стул и расправила складки строгой юбки.

– И финальный штрих, который Лондон заботливо оставил для тех, у кого IQ выше, чем у комнатной герани. Героя спасают ученые с китобойного судна «Бедфорд». Казалось бы, ура, цивилизация, катарсис! И что делает наш очищенный страданием полубог? Он начинает сходить с ума на почве еды. Он прячет сухари под матрас. Он выменивает у матросов сухую галету на золотые часы. Он раздувается от хлеба, как утопленник, превращаясь в бесформенную бочку. Страх остаться без корыта разрушил его психику окончательно. Джек Лондон, сам того не понимая, написал страшную вещь: человека очень легко сломать до уровня свиньи, но обратно в человека он уже не собирается. Природа победила, господа. Желудок восторжествовал над душой.

Александра Сергеевна посмотрела на часы. До звонка оставалось две минуты.

– Запишите домашнее задание, жертвы фастфуда. Сочинение на тему «Почему Билл был прав». Обоснуйте с точки

зрения экономики и здравого смысла. И не дай бог я увижу в ваших писанинах словосочетание «величие духа». За это сразу два балла без права пересдачи.

Она замолчала, аккуратно закрывая журнал своими крошечными, безупречно ухоженными пальцами. Величественная и страшная в своем микроскопическом масштабе, она снова выглядела как фарфоровая богиня, знающая о людях слишком много, чтобы их жалеть.

«Любочка», А. Барто

Февральский вечер в провинциальном городе N застыл, точно кость в горле замерзшей реки. Редкие фонари отбрасывали на сугробы грязную, желтушную тень, а над крышами старых хрущевок, свиваясь в тугие жгуты, клубился плотный, маслянистый дым от недалеких котельных.

В такие часы обыватели прячутся по норам, но Александра Сергеевна Пушкина – Народный учитель Российской Федерации, чья голова даже не достигала ручки стандартной входной двери, – находилась в месте куда более монументальном. Она стояла посреди душного, пропахшего хлоркой и мокрыми вениками предбанника общественной бани № 3.

На ней было тяжелое, сшитое на заказ драповое пальто, из-под которого виднелись крошечные, двадцать четвертого размера, ортопедические ботиночки. Александра Сергеевна не стала раздеваться: сегодня она пришла в это сомнительное заведение с единственной сугубо медицинской целью – хорошенько пропотеть в шерсти, не соприкасаясь телом с казенным кафелем. Вокруг шумели тазы, плескалась мыльная пена, и тучные, рыхлые женщины в простынях походили на античных кариатид, временно сошедших с фасада разрушающегося театра.

Александра Сергеевна, чей вес едва превышал двадцать пять килограммов, смотрела на этот хаос с абсолютным, по-

чти божественным спокойствием, держа в крошечной ручке тяжелый латунный номерок. К ней, тяжело отдуваясь после парной, подошла завуч школы, Антонина Петровна Перепизгина – женщина комплекции кустодиевской купчихи, завернутая в махровый кокон.

– Ох, Сашенька, ну и жара! – пробасила завуч, вытирая пот со лба. – Слушай, у меня к тебе дело. Там во втором классе молодая девчонка, практикантка, совсем завалила урок по Агнии Барто. Ну, помнишь это... «Синенькая юбочка, ленточка в косе». Говорит детям, мол, это простая дидактическая мораль о вреде двуличия и эгоизма. Скука смертная! Как бы им это поинтереснее преподнести, а? Ты же у нас глыба, подскажи!

Александра Сергеевна медленно подняла голову. Ее породистое, тонкое лицо с глубокими, пронизательными глазами, не тронутыми возрастом, озарилось каким-то внутренним, почти мистическим светом. Она благоговейно прижала крошечную ладонь к груди.

– Ах, Антонина, – выдохнула она голосом густым, бархатным, совершенно несоразмерным ее девятидесятисантиметровому росту. – Барто... Какая незаслуженно упрощаемая, какая хрустальная поэзия! Этот текст – подлинный, неоцененный реквием по утраченной гармонии человеческого духа. Посмотрите на эти первые строфы – это же чистый, незамутненный триумф дионисийского начала в русской лирике! «Девочки на празднике соберутся в круг...» Это ведь не

просто утренник, это сакральный хоровод, древнегреческий хор, где юная Любочка выступает в роли абсолютного, солнечного божества. «Как танцует Любочка! Лучше всех подруг». Вслушайтесь в этот ритмический шаг, в эту легкую, пушкинскую аллитерацию. Перед нами – гимн эстетическому совершенству, чистая радость бытия, где каждая деталь – и синенькая юбочка, и ленточка – превращается в атрибут вечной, сияющей женственности...

В этот момент банщица баба Нюра с грохотом швырнула на кафельный пол ржавое цинковое ведро с грязной водой. Вода с противным шлепаньем брызнула на ботинки Александры Сергеевны.

Взгляд Народного учителя мгновенно заledenел. Мягкий свет в глазах сменился хирургической сталью. Она перевела взгляд с ведра на завуча, и ее рот искривился в презрительной, циничной усмешке.

– Хотя, если снять эти розовые филологические сопли, – резко, со свистом отрезала Александра Сергеевна, переходя на сухой, безжалостный тон, – то Барто написала для детей анатомический атлас тяжелой психопатии. Какая, к черту, женственность? Давайте препарируем эту вашу Любочку. Что мы видим в тексте? Перед нами классический, эталонный образ латентного социопата с истерическим расстройством личности.

Антонина Петровна Перепизгина разинула рот, застыв с мочалкой в руке. Александра Сергеевна сделала шаг вперед,

и во всей ее крошечной фигуре появилось столько деспотичной энергии, что завуч инстинктивно вжала голову в плечи.

– Посмотрите на динамику, – чеканила Пушкина. – В первой фазе эта малолетняя тварь создает безупречный социальный фасад. «Любу знают все». Маркетинг, пиар, абсолютный нарциссизм. Она кружится в кругу, торгует лицом, собирает лайки и социальные поглаживания от стада восторженных дурочек-подруг. Но как только Любочка пересекает порог собственного дома – маска слетает вместе со скальпом. «Я за хлебом не пойду!» Понимаете, что это? Это бытовой фашизм и тотальный паразитизм. Семья для нее – кормовая база. Дома некому продавать образ «милой девочки», там нет зрителей, там нужно вкалывать, поэтому включается режим агрессивного домашнего тирана.

Александра Сергеевна презрительно фыркнула и поправила воротник огромного пальто.

– Но самый смак, Тоня, начинается в общественном транспорте. Трамвай у Барто – это микромодель нищего, забитого советского общества. И как ведет себя наша «синенькая юбочка»? Она совершает экономическое преступление – «билета не берет». Ей плевать на общественный договор. Дальше – чистая физическая экспансия: «всех локтями раздвигая, пробирается вперед». Это вам не просто хамство, это повадки жожака бабуинов в период гона. И вишенка на этом навозном торте – диалог со старухой. «Это детские места», – заявляет Любочка. Девочка цинично, с ледяным расчетом

использует систему социальных льгот, созданную для защиты уязвимых, чтобы растоптать еще более уязвимого члена популяции – дряхлую бабку, которая в итоге покорно вздыхает и уступает ей пространство. Любочка – это идеальный, безжалостный хищник, абсолютно адаптированный к нашему скотскому бытию.

– Но... Сашенька... – пролепетала завуч. – Там же в конце написано, что «необязательно они зовутся Любами»... Барто же осуждает...

– Барто не осуждает, Барто констатирует катастрофу! – припечатала Александра Сергеевна, снизу вверх взглянув на Перепизгину так, словно та была нерадивым двоечником. – Финал – это капитуляция автора. Барто прямым текстом говорит: эта зараза мутировала. Любочка – это не имя, это диагноз целого поколения приспособленцев. Они носят «ленточки в косах», они улыбаются вам на педсоветах, они обещают золотые горы, а в трамвае жизни перешагнут через ваш труп и даже не поморщатся. И то, что я сама физически не могу дотянуться до поручня в этом чертовом трамвае, дает мне абсолютное, сука, право видеть этих тварей насквозь. Они все – биомусор в синеньких юбочках.

Александра Сергеевна резко повернулась, протянула бабе Нюре латунный номерок, получила от суровой банщицы свою крошечную ридикюль-сумочку и, не прощаясь, зашагала к выходу. Ее маленькие ножки ритмично стучали по кафелю, а за спиной у нее, казалось, разворачивались невиди-

мые, но тяжелые черные крылья абсолютного, всепоглощающего знания о человеческой низости.

Антонина Петровна осталась стоять в предбаннике, судорожно прижимая к груди мокрую мочалку и боясь пошевелиться.

«Лягушка-путешественница», В. Гаршин

Вечерний провинциальный вокзал тонул в липком сизом тумане, какой бывает на исходе сырого октября, когда земля уже пахнет прелью, а небо напоминает старую, стократно выстиранную шинель. Одинокий маневровый тепловоз где-то на дальних путях глухо исходил истошным, чахоточным воплем.

На мокрой деревянной платформе, под тусклым оком единственного выжившего фонаря, стояла Александра Сергеевна Пушкина. Маленький, туго набитый саквояж из крокодиловой кожи казался рядом с ней монументальным чемоданом, поскольку сама Народный учитель Российской Федерации едва достигала отметки в девяносто сантиметров.

Стоящий рядом случайный попутчик – грузный мужчина в поношенном драповом пальто, безуспешно пытавшийся прикурить промокшую сигарету, – поглядывал на нее сверху вниз с той снисходительной жалостью, которую крупные и глупые млекопитающие часто испытывают к существам иного масштаба. Он еще не знал, что в этом хрупком теле весом в двадцать пять килограммов, облаченном в безупречно скроенное строгое пальто, бился пульс титанического, беспощадного филологического ума.

– Вы посмотрите, милостивый государь, на эти рельсы, – тихо, но удивительно объемным, грудным контральто произнесла Александра Сергеевна, устремив взор в туманную даль. – В их бесконечном, параллельном беге есть высшая, трагическая поэзия ускользающего бытия. Ах, дорога, дорога... Как точно великий Всеволод Гаршин уловил этот извечный, мучительный зуд русского человека – стремление вырваться из липкого болота обыденности!

Попутчик открыл было рот, чтобы вставить хоть слово, но Александра Сергеевна повелительно вскинула крошечную ладонь в лайковой перчатке, мгновенно заставив его замолчать.

– Помните ли вы его великое, незаслуженно низведенное до детского утренника творение о крылатом странствии? Какая акварельная нежность слога! Какая пронзительная, хрустальная элегия духа! Эта упоительная тишина осеннего плеса, этот тонкий, едва уловимый аромат прелой ряски, и среди всего этого великолепия – чистая, незамутненная душа, дерзнувшая воспарить над топью. Это же чистый экстаз романтизма, соприкосновение земного тлена с горным миром, где утки – не просто птицы, но серафимы, несущие страждущую душу на золотых крыльях к далекому, обетованному югу...

В этот момент маневровый тепловоз с оглушительным скрежетом рванул ржавый товарный состав, и колесная пара выбила из стыка рельсов струю грязной, мазутной жижи.

Несколько капель долетели до платформы и осквернили носок лакированного ботиночка Александры Сергеевны двадцать четвертого размера.

Она медленно опустила взгляд. Глаза ее, доселе излучавшие свет Серебряного века, сузились до толщины бритвенных лезвий. Великая филологическая муза мгновенно испарилась, уступив место прожженному цинику предпенсионного возраста.

– Тьфу, бредятина, – жестко отчеканила Александра Сергеевна, доставая из кармана батистовый платок и брезгливо вытирая обувь. – И ведь эту чушь мы до сих пор скармливаем несчастным второклассникам под видом моралите. «Лягушка-путешественница» – это же не сказка, милейший. Это клинический разбор запущенного нарциссизма и тотального кризиса некомпетентности. Вы вообще этот текст трезвым взглядом перечитывали?

Мужчина в драповом пальто поперхнулся дымом и замер. – Начнем с того, – Александра Сергеевна выпрямилась, и хотя ее макушка едва доставала до кармана пальто собеседника, попутчик невольно втянул голову в плечи под давлением ее ледяной харизмы, – что главная героиня – обыкновенное приспособленное ничтожество. Сидит в гнилой луже, жрет комаров, радуется теплоте дождю – абсолютный потолок амбиций среднего обывателя. Но стоит над ней пролететь стая уток, которые, к слову, являются нормальным работающим классом, совершающим ежегодный тяжелый тру-

довой транзит, как у нашей амфибии врубается классический комплекс неполноценности. Она решает, что создана для большего. И ладно бы она сама махала ластами! Нет, эта зеленая дрянь изобретает идеальную схему паразитизма: заставляя двух здоровых работяг-уток тащить себя на палочке. Это же чистый аутсорсинг! Эксплуатация чужого биологического ресурса ради удовлетворения личного эго.

Она сделала паузу, ее маленькие пальцы крепче сжали рукоять саквояжа.

– Но высший цимес – в мотивации. Гаршин гениально, хоть и бессознательно, задокументировал психологию дешевого понта. Зачем она летит на юг? Ей плохо в болоте? Нет, ей там отлично. Ей нужно верифицировать свой статус в глазах окружающих! И как только внизу открывается рот толпы – «Ах, кто это так умно придумал?» – у этой твари отключаются остатки базового инстинкта самосохранения. Мозг, размером с булабочную головку, мгновенно затопляет дофаминовый шторм от собственной исключительности. «Это я! Я придумала!» – и брык брюхом в грязь. Это же классический фейл любого инфлюенсера, который ради лайков готов выйти в окно.

Александра Сергеевна горько усмехнулась, окинув взглядом пустынные пути.

– И финальный аккорд – абсолютное, звенящее бесстыдство. Упав в чужую лужу, разбитая, опозоренная, потерявшая команду, она не делает никаких выводов. Она начина-

ет заливать местным провинциальным лягушкам сказки о том, как она лично владела стаей элитных уток, как путешествовала бизнес-классом и как утки целовали ей лапки. Полная профессиональная деформация личности и замещение реальности вытесненными фантазиями. Мы учим детей состраданию к существу, которое заслуживает лишь принудительной изоляции в психиатрическом диспансере. Посредственность, возомнившая себя стратегом на чужом горбу – вот вам и вся «хрустальная элегия духа».

Вдали показались огни подходящего поезда. Александра Сергеевна аккуратно поправила воротник своего крошечного пальто, обернулась к совершенно ошарашенному попутчику и вернула на лицо маску безупречной интеллигентности.

– А вот и наш состав, милостивый государь. Надеюсь, в вагоне не будет сквозняков.

«Маленький Мук», В. Гауф

Весеннее солнце в провинциальном городе Н. обычно не ласкало, а обнажало: обнажало щербатый асфальт у школьного крыльца, плесень на глухой стене пивного ларька и серые, сонные лица прохожих. Но в кабинете русского языка и литературы, сокрытом от суетного мира тяжелыми порттьерами цвета увядшей розы, царило благоговейное безмолвие.

За массивным дубовым столом, на специально сконструированном высоком стуле с бархатной подушечкой, восседала Александра Сергеевна Пушкина. Природа отмерила ей ровно девяносто сантиметров телесной оболочки, словно испугавшись, что для большего объема просто не хватит того чистейшего, звенящего филологического гения, коим она была наделена.

Ее крошечные фарфоровые ручки покоились на томике Вильгельма Гауфа. Перед ней, замерев в священном ужасе, сидел шестой «Г» – тридцать душ потомственных двоечников, малолетних вейперов и будущих королей авторазборок, которых она за полтора года дрессировки научила не дышать в своем присутствии.

– Посмотрите на этот переплет, господа, – голос Александры Сергеевны, глубокий, бархатный альт, лился подобно виолончельному соло, заставляя забыть о ее карикатурном росте. – Немецкий романтизм – это величайшее таинство

духа. Это хрустальный замок, воздвигнутый над бездной человеческого отчаяния. Сказка о маленьком Муке – не просто повествование, это тончайшая партитура одиночества, где каждая слеза героя превращается в драгоценный сапфир, а каждый шаг его маленьких ножек – в экзистенциальный поиск абсолютной гармонии. Как трепетно Гауф описывает сиротство! Какая невыразимая скорбь разлита в сценах, где крошечное, гонимое дитя ищет свое место под безжалостным солнцем Востока! Это гимн чистоте, чистоте, которая...

В этот момент Арсен Копроян, сидевший на первой парте, шумно, с присвистом втянул носом соплю.

Александра Сергеевна замолчала. Музыка сфер оборвалась. Она медленно перевела взгляд огромных, умных и абсолютно мертвых глаз на Арсена Копрояна. Очарование девятнадцатого века испарилось, уступив место леденящему реализму учительницы с тридцатипятилетним стажем выживания в провинции.

– ...чистоте, которая в гробу видала весь этот ваш гуманизм, Копроян. Вытри нос, ничтожество, и слушай сюда.

Шестой «Г» синхронно подобрал животы.

– Открываем тетради и пишем тему: «Маленький Мук как манифест беспринципного социопата и торжество коммерческого шпионажа». Родители и авторы учебников втирают вам, что это сказка о бедном сиротке. Чушь. Гауф написал гениальное пособие по криминальной психологии. Давайте препарируем этого карлика. Моего, так сказать, коллегу по

несчастьем, только без мозгов и ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Она оперлась крошечными локтями о стол, подавшись вперед. В этот момент ее фигура казалась гигантской, подавляющей класс своей ментальной массой.

– Начнем с экспозиции. Малолетний тунеядец после смерти отца выставляется родственниками на улицу. Нормальный человек пошел бы подмастерьем к сапожнику, к пекарю. Что делает Мук? Он идет бродяжничать в надежде, что вселенная обязана его накормить. Классическое иждивенчество. Дальше он нанимается к старухе Агавци. Заметьте, Агавци – одинокая пожилая женщина, организовавшая приют для бездомных животных. Да, с прибабахом, но она кормит кошек. Что делает наш «святой» мальчик? Вместо того чтобы честно исполнять трудовой договор, он вступает в конфликт с кошачьим коллективом, не справляется с обязанностями и решает компенсировать свой профессиональный коллапс банальной кражей со взломом. Он крадет личные вещи хозяйки: туфли-скороходы и тросточку. Это чистая сто пятьдесят восьмая статья, господа, – кража с незаконным проникновением в жилище, да еще и уникального высокотехнологичного имущества.

Александра Сергеевна презрительно фыркнула и перелистнула страницу.

– Но дальше – веселее. Получив в руки высокотехнологичный инвентарь, Мук устраивается на госслужбу к королю

– скороходом. То есть монетизирует краденое имущество. Коллеги-завистники, естественно, подставляют его, обнаружив у него золото, которое трость выстукивала в королевском саду. И вот тут внимание: Мука изгоняют. Любой нормальный сказочный герой вынес бы урок, занялся бы самопознанием. Но Мук – мстительная тварь с тяжелым комплексом неполноценности. Мой рост девяносто сантиметров, Копроян, но мне не приходит в голову травить администрацию города ядовитыми субстанциями. А Мук идет в лес, находит инжир, который деформирует человеческое тело – от него растут ослиные уши. Что делает этот гуманист? Он устраивает биологическую атаку на высшие эшелоны власти.

Пушкина сделала паузу, наслаждаясь гробовой тишиной.

– Он возвращается во дворец под видом лекаря. Заметьте, он не просто забирает свои туфли. Он берет инжир, который возвращает ушам прежний вид, исцеляет всех придворных, кроме короля. Он оставляет главу государства инвалидом с уродливыми ослиными ушами на всю жизнь, забирает краденое имущество и гордо удаляется в закат. В чем мораль, которую вам не расскажут в хрестоматиях? Мук – это чудовище. Он разрушил экономику королевства, обворовал старушку, покалечил монарха и остался безнаказанным благодаря техническому превосходству. Гауф показал нам, что если ты обделен ростом или силой, тебе не нужно быть добрым. Тебе нужно найти сильное оружие, ограбить ближнего и жестоко отомстить всем, кто успешнее тебя. Запишите

вывод: «Гуманизм – это сказочка для лохов; побеждает тот, у кого быстрее туфли и выше готовность изуродовать уши врагов».

Александра Сергеевна захлопнула книгу. Удар прозвучал как выстрел. Она поправила безупречную блузку с жабо и снова улыбнулась той нежной, филологической улыбкой, от которой у директора школы подкашивались ноги.

– На дом, ангелы мои, вам остается «Карлик Нос». Подумайте на досуге, какие статьи конвенции о правах человека нарушил этот малолетний ресторатор. Свободны.

«Маленький принц», А. де Сент-Экзюпери

Александра Сергеевна Пушкина восседала на трех сложенных друг на друга томах «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона», уложенных на сиденье жесткого кресла в предбаннике единственной в городе общественной бани № 3. Вокруг клубился тяжелый, сырой пар, пахнувший распаренным березовым листом, дешевым мылом и вековой провинциальной тоской.

Великое филологическое светило, Народный учитель РФ, имевшее девяносто сантиметров роста и едва набравшее двадцать пять килограммов веса вместе со своим необъятным интеллектом, меланхолично смотрела на то, как грузная банщица тетя Катя, похожая на монумент советскому мочалу, яростно терла таз обрывком старой шинели.

– Вы только вслушайтесь в эту хрустальную, неземную высь, Катерина, – произнесла Александра Сергеевна. Голос ее, глубокий и бархатистый, как старинный виолончельный футляр, легко перекрывал грохот шаек. – Какая невыразимая, пронзительная элегия человеческого одиночества сокрыта на этих страницах! Какое великое, космическое милосердие двигало рукою Антуана, когда он вырисовывал этот хрупкий силуэт мальчика с золотыми волосами. Это же чи-

стый, незамутненный неоплатонизм, возведенный в абсолют гуманизма. Помните это сакральное, почти литургическое: «Зорко одно лишь сердце»? Как тонко автор уловил трагедию взросления, это постепенное умирание детской святости под грузом мещанского бытия. Мы ведь все – затерянные в пустыне пилоты, ждущие своего маленького спасителя, который вернет нам способность видеть живое в чертежах...

Тетя Катя с грохотом уронила таз, вытерла пот со лба грязным подолом и зычно крикнула вглубь коридора:

– Михалыч, матъети, опять в мужском отделении трубу прорвало! Говно прет прямо на полки!

Александра Сергеевна на секунду замерла. Глаза ее, огромные и холодные, как два замороженных каперса на крошечном, покрытом благородными морщинами лице, блеснули недобрым, хирургическим светом. Она поправила воротник своего безупречного халата размера «Детский мир» и резко сменила регистр.

– Впрочем, Катерина, если убрать этот пафосный сироп для размягчения мозгов четвертого класса, книга – чистокровное пособие по тяжелой шизофрении и токсичным отношениям. Экзюпери написал не сказку, а клинический манифест законченного нарцисса и инфантильного манипулятора.

Тетя Катя замерла с поднятым ковшом, из которого на кафель тонкой струйкой стекала горячая вода.

– Давай препарлируем этого вашего золотоволосого ублюд-

ка. Мальчик живет один на куске астероида размером с коммуналку. Из развлечений – прочистка вулканов и прополка баобабов. И тут появляется Роза. Типичная, хрестоматийная истеричка с пограничным расстройством личности. Она капризничает, требует ширмы, боится сквозняков и жрет его ресурс. Что делает наш «святой» отпрыск? Вместо того чтобы выстроить личные границы или хотя бы нанять ей психотерапевта, он включает обиженку, бросает бабу на куске скалы без средств к существованию и сваливает в космический трип за счет перелетных птиц. Вы представляете себе этот уровень социальной ответственности? Тунеядец на попутках.

Тетя Катя со свистом бросила мочалку в таз:

– Да за такие фокусы его самого надо было на этом астероиде запереть!

– Дальше – больше, Катенька. Он шляется по соседним астероидам. Все эти короли, честолюбцы, пьяницы – это же не просто сатира, это зеркало, в которое пацан смотрит и думает: «Господи, какие все уроды, один я стою в белом плаще, красивый». Он презирает географа за то, что тот сидит в кабинете, хотя сам за всю жизнь не совершил ни одного полезного действия, кроме экстерминации баобабов.

Пушкина криво ухмыльнулась.

– А финал этой драмы? Знакомство с Лисом. Это же вообще уголовщина, чистая статья за доведение до эмоционального кризиса. Принято думать, будто пацан – невинная

жертва, но посмотрите на контекст. Золотоволосый бродяга прилетает на Землю, ему скучно, и он пристаёт к первому встречному дикому зверю: «Поиграй со мной, мне так грустно». Лис честно, как сознательное животное, выставляет границу: «Не могу, я не приручен». Обычный человек извинился бы и ушел. Что делает этот мелкий манипулятор? Он включает профессиональное любопытство и начинает допытываться: «А как это – приручить?»

Пушкина сделала многозначительную паузу и, подтянув крошечными пальцами тяжелую полу халата, поудобнее устроилась на вершине Брокгауза. Тетя Катя согласно и мрачно закивала.

– Он буквально вынуждает одинокого, истосковавшегося по теплу Лиса раскрыться. Животное само лезет в эту петлю, сдавая пацану пошаговую инструкцию по собственной вербовке: садись каждый день ближе, молчи, приходи в один и тот же час. И этот космический гастролер педантично, день за днем, исполняет ритуал. Он искусственно формирует у зверя жесткую психологическую зависимость от своего присутствия, ломает его дикие инстинкты и заставляет полюбить золотую пшеницу.

Из-за неплотно прикрытой двери мужского отделения донесся глухой, тоскливый крик Михалыча, но Александра Сергеевна даже не повела бровью.

– И как только Лис полностью раздавлен этой суррогатной любовью и готов служить, Маленький принц внезапно объ-

являет о закрытии проекта. Он собирает вещички и технично перекладывает вину на жертву: «Ты сам захотел, чтобы я тебя приручил, я-то тебе зла не желал». Лис рыдает у норы, а этот эгоцентрик на прощание забирает у него сакральный секрет про зоркое сердце. Лис в отчаянии пытается воззвать к остаткам его совести и вкладывает ему в уши железное правило: «Люди забыли эту истину, но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил».

– В ответе они, как же, – проворчала банщица, выжимая тяжелую, грязную тряпку прямо на кафель. – Мой бывший тоже красиво пел, а потом алименты за три года зажал.

– Вот-вот. И что делает наш золотоволосый святоша? Он послушно повторяет эти слова вслед за Лисом, чтобы лучше запомнить, соглашается: «Да, я в ответе». То есть факт приручения признает, вину осознает, тут же разворачивается на пятках, перешагивает через плачущее животное – и технично сливается в закат! Понимаете уровень цинизма? Сам согласился с законом, сам подписал протокол – и тут же пошел его нарушать, полетев к своей капризной девке на астероид. Чистый, дистиллированный эгоизм: попользовался чужой душой как бесплатным психологическим тренажером, выслушал лекцию об ответственности, пообещал помнить – и бросил.

– Ну и гаденыш золотоволосый, – кивнула тетя Катя. – А с виду – ангелочек в шарфике.

– И вишенка на этом гнилом торте – самоубийство через

укус змеи, – продолжила Пушкина. – Парень словил жесткий экзистенциальный кризис, понял, что во взрослом мире надо платить по счетам, работать и отвечать за базар, и решил красиво выпилиться, прогнав пилоту дичь про то, что «тело слишком тяжелое, я его оставляю». Чистой воды подростковый шантаж и демонстративный суицид на глазах у психически травмированного летчика, у которого и так в пустыне бензин кончался.

Александра Сергеевна легко, словно пушинка, спрыгнула со словаря Брокгауза на кафельный пол. Рост в девяносто сантиметров заставлял ее смотреть на банщицу снизу вверх, но в этот момент казалось, что крошечная учительница возвышается над предбанником, как топор палача над эшафотом.

– Так что, милая Катерина, – подвела итог Пушкина, завывая под подбородком тесемки крошечной банной шапочки, – Экзюпери показал нам идеального паразита. Проблема человечества не в том, что взрослые забыли, какими были в детстве. Проблема в том, что некоторые дети так и не получили вовремя хорошего, отрезвляющего подзатыльника. Идите, Катерина, спасайте мужское отделение от нечистот. В отличие от Маленького принца, у вас хотя бы есть реальная работа.

«Малыш и Карлсон, который живет на крыше», А. Линдгрен

Дождь над городом N волочился сонной, серой ветошью, размазывая по оконным стеклам вокзального буфета полустанную унылую хмарь. В этот предвечерний час, когда провинциальное бытие замирает в предчувствии неизбежного кефира и вечерних новостей, за угловым столиком, скрытым густой тенью пыльной герани, вершилось таинство.

Александра Сергеевна Пушкина, Народный учитель Российской Федерации, сидела на трех положенных друг на друга телефонных справочниках «Желтые страницы» за 2004 год. Ножики ее, обутые в крошечные ортопедические лакированные туфельки двадцать четвертого размера, сиротливо висели в воздухе, не доставая до пола, однако осанка, увенчанная строгим филологическим пучком, являла собой образец монументальности.

Напротив нее, умиленно роняя слезы в остывающий чай, сидел молодой учитель-стажер Мишенька Куеплётов.

– Вы только вслушайтесь, голубчик, в эту хрустальную, звенящую ноту скандинавского романтизма, – выпевала Александра Сергеевна, и голос ее, глубокий, бархатный, виолончельный, совершенно не вязался с ее детским, девяностосантиметровым тельцем весом с полмешка картошки. – Аст-

рид Линдгрэн соткала не просто сказку. Это великий реквием по уходящему детству, симфония экзистенциального одиночества, задрапированная в уютные сумерки шведских крыш. Малыш – этот маленький Сент-Экзюпери стокгольмских кварталов – томится в тисках буржуазного благополучия. Его душа алчет чуда, трансцендентного прорыва! И чудо является. В образе легкого, как дуновение весеннего зефира, существа с моторчиком. Это же чистый, незамутненный неоплатонизм, Мишенька! Слияние земного микрокосма и небесного макрокосма, где Карлсон – не кто иной, как аллегория чистого творчества, свободного духа, парящего над пошлой прозой бытия...

В этот момент официантка в засаленном фартуке с грохотом швырнула на их стол щербатое блюдо с единственной, сиротливой маковой сушкой.

Глаза Александры Сергеевны, секунду назад лучившиеся светом андерсеновских свечей, мгновенно сузились в две ледяные щели. Она посмотрела на сушку, затем на официантку, затем на Мишеньку Куеплетова. Атмосфера в буфете резко изменилась, словно из уютной квартирки всех разом выкинули в вырезвитель на станции Дно.

– Хотя если убрать этот сопливый филологический сироп, Миша, то перед нами классический, задокументированный анамнез тяжелого психического абьюза и бытового паразитизма, – ледяным, скрипучим тоном отрезала Пушкина, легко, одним пальцем разламывая сушку. – Давайте снимем ро-

зовые очки и препарлируем эту шведскую дрянь.

Стажер Куеплетов поперхнулся чаем. Александра Сергеевна поправила сползающие на крошечный нос очки в толстой оправе и продолжила, чеканя слова:

– Кто такой Карлсон? Нам внушают: «лучший в мире друг». Чушь. Перед нами эталонный, рафинированный социопат, тридцатилетний безработный карлик с признаками девиантного поведения и тяжелой пищевой зависимостью. По сути, Линдгрэн описала типичного маргинала, который возвел незаконную пристройку прямо на крыше жилого дома – без согласования с БТИ, без регистрации, без уплаты коммунальных платежей, чисто на птичьих правах. И этот половозрелый хмырь выбирает себе в жертву семилетнего пацана из благополучной семьи. Почему? Потому что взрослые его ссаными тряпками с крыши погонят, а ребенком манипулировать – раз плюнуть.

Она подалась вперед, и хотя ее макушка едва возвышалась над сахарницей, Куеплетов инстинктивно вжался в стул. Ментальное давление этой девятидесятисантиметровой женщины могло бы сокрушить бетонную сваю.

– Вспомните динамику их отношений, – Александра Сергеевна загнула крошечный, похожий на кукольный, палец. – Шантаж и газлайтинг с первой секунды. «Я самый тяжелый больной в мире, дай мне варенья». Это же чистой воды эмоциональный терроризм! Карлсон уничтожает имущество Малыша, взрывает паровую машину, ломает игрушки. И ка-

кова его реакция? «Пустяки, дело житейское». Перевожу на русский: «Мне плевать на твои чувства, твои границы и кошелек твоих родителей, а если ты пикнешь – я улечу, и ты останешься один, ничтожество». Он подсаживает ребенка на иглу синдрома упущенной выгоды.

– Но как же... – пролепетал стажер. – А как же прогулки по крышам? Свобода?

– Свобода? – Александра Сергеевна горько усмехнулась, качнув головой, отчего ее огромная, не по росту филологическая голова показалась еще массивнее на хрупких плечах. – Это не свобода, это оставление в опасности, статья 125 УК РФ. Жадный жирный эгоист тащит несовершеннолетнего на крышу, подвергает его жизнь смертельному риску, а когда приходят пожарные – просто сваливает, бросая парня одного на трубе. Вы понимаете уровень его цинизма? Ему не нужен друг. Ему нужен бесплатный провайдер мясных тефтелей и теплая аудитория для его раздутого, ничтожного «Я».

Александра Сергеевна ухмыльнулась и продолжила:

– А эпизод с оставленным младенцем? Там Карлсон проявляет себя как настоящий тиран и эгоцентрик, чьи действия граничат с жестоким обращением. Вместо реальной помощи он устраивает над беззащитным грудничком агрессивные эксперименты: грубо трясет плачущего ребенка, пока тот не замолкает от шока, и ставит на нем сомнительные опыты, называя это «воспитанием». Карлсон абсолютно слеп к страданиям младенца и воспринимает его лишь как живую иг-

рушку для удовлетворения собственного тщеславия, искренне считая свои издевательства высшим проявлением добродетели.

Она сделала глоток остывшего чая, даже не поморщившись.

– Самое страшное, Мишенька, – это финал первой книги. Семья устраивает Малышу день рождения. Мальчик ждет собаку. Он готов отдать все за живое существо, которое будет его любить. И тут прилетает это пропеллерное недоразумение. Знаете, зачем? Не поздравить. Он прилетает жрать. Он в одиночку сжирает весь именинный торт, оставляет ребенка с пустым подносом и улетает обратно в свою конуру. Это же абсолютное, эталонное торжество шкурничества над человечностью. Линдгрэн гениальна в своем ужасе: она показала, как легко упаковать махровый эгоцентризм в обертку харизмы. Дети читают и думают: «Ой, как весело». А на самом деле это хроника того, как одинокий недолюбленный ребенок пускает в свою жизнь токсичного паразита, готового продать его за банку джема.

Александра Сергеевна замолчала, аккуратно стряхнув крошку сушки со своего строгого пиджака, сшитого на заказ в ателье «Переделкино». Она посмотрела в окно, где дождь продолжал смывать остатки дня.

– Ладно, Миша, допивайте свой суррогат, – произнесла она уже спокойнее, и в ее голосе снова прорезались интеллигентные бархатные полутона. – Пора домой. Завтра у ме-

ня пятые классы. Будем проходить «Муму». Объясню этим оболтусам, почему Герасим – первый в истории русской литературы эффективный менеджер, безукоризненно выполнивший KPI своего главного исполнительного директора в лице барыни.

Она легко прыгнула со стопки справочников, подхватила свой крошечный кожаный портфель, весивший добрую треть от нее самой, и, не оборачиваясь, величественно двинулась к выходу, оставляя стажера Куеплетова тет-а-тет с разграбленным миром детских сказок.

«Мальчик с пальчик», Жуковский В. А.

Октябрьский туман вползал в открытую форточку кабинета русского языка и литературы как серый, чахоточный саван, укутывая парты, за которыми сидело стадо тринадцатилетних гуманоидов. Это был седьмой «Г» класс – конгломерат гормонального хаоса, вейперов и девиц с нарисованными бровями, чьи мыслительные процессы вращались исключительно вокруг интернет-челленджей и пива «Гараж».

Над учительским столом, на специально сконструированном для нее дубовом подиуме, возвышалась Александра Сергеевна Пушкина. Ровно девяносто сантиметров чистой, концентрированной филологической ярости. Эта крошечная женщина в безупречном твидовом костюме обладала голосом, который заставлял стынуть кровь у директоров департаментов образования. Знак «Народный учитель РФ» на ее лацкане казался орденом на груди боевого генерала. Она окинула класс взором, в котором читалось знание всех тайн человеческого падения.

– Сегодня, господа тунеядцы, мы обратимся к истокам, – заговорила она, и ее голос, бархатный, глубокий, полетел над притихшими партами, точно колокольный звон над тихой Окой. – К 1851 году. Баден-Баден. Угасающий, смертельно

больной Василий Андреевич Жуковский пишет свое последнее, лебединое признание в любви к ускользающей красоте мира. «Мальчик с пальчик». Боже мой, какая кристальная, почти хрустальная синестезия! Послушайте этот зачин, эту негу, этот трепетный шорох утреннего сада... «Лицом был красавчик, как искры глазенки, как пух волосенки; он жил меж цветочков; в тени их листочков в жары отдыхал он...»

Александра Сергеевна прикрыла глаза. Лицо ее, бледное, благородное, казалось ликом фарфоровой куклы, прикоснувшейся к божественному.

– Вы только вдумайтесь в эту метафизику бытия! Крошечное существо, чистый дух, облаченный в атласный листочек лилеи прекрасной, запрыгает проворную пчелку в одноколку из легкой скорлупки. Какая пастораль! Какое растворение в природе, где эльфы летучие в перловых купаются на травке росинках, свиваясь и сплетаясь в экстазе предвечной гармонии под лучезарным небом... Это же гимн невинности, абсолютной догреховной чистоте, не запятнанной грязью земного существования. Жуковский запечатлел здесь рай, потерянный нами, святую детскую душу, спящую под защитой живых цветов...

В этот момент на третьей парте у окна Рита Шлюшенкова – девица с фиолетовыми волосами и лицом, не обремененным признаками цивилизации, – громко, на весь класс, рыгнула со вкусом чипсов с крабом. Она даже не подняла глаз от телефона.

Мир замер. Октябрьский туман застыл.

Александра Сергеевна медленно открыла глаза. Филологический трепет испарился, уступив место ледяному, хирургическому цинизму. Она посмотрела на Шлюшенькову, затем на класс, и оперлась крошечными ладонями о край кафедры. Физически она была ниже любой из этих тупиц, но ментально сейчас возвышалась над ними как сталинская высотка.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.